ИВАН ШУВАЛОВ

ХЛЕБ И МОЛОКО

Париж 1973

ИВАН ШУВАЛОВ

ХЛЕБ И МОЛОКО

моей старшей сестре

« СЕТА »
Париж 1973

НОВОЕ ШОССЕ

С ранних лет меня поражал старший брат, когда, хромой и сутулый, открывал дверь и проникал в мою комнату. Это был почти цирковой прыжок дрессированных сквозь заклеенный обруч : в такой миг весь контур целиком ясен. Чудесный табачный дух, холодные руки и колющие усы — все это я помню наверно. Но наслаждаться его близостью не было времени; столько раз уже наши встречи прекращались от внешних внезапных причин ! Как стук в дверь, резко, негармонично звучали они без прелести, однако, брат всегда променивал меня и последние минуты в моей комнате его внимание было « там », а потому радость и страх, что он сейчас уйдет, приходили одновременно с ним и все время щекотали сознание.

Эту непонятную измену я объяснял любопытством : вероятно, что то старое, давно знакомое, пребывало вокруг меня, а « там »,

может быть, и не особенное, зато новое — отдать предпочтение я бы и сам не затруднился. Из этого заключения, которое я принимал как догмат, вытекали мои попытки соблазнить его новинками моей изобретательности. Было испробовано несколько областей, заключавших в себе непосильную, даже самому сопротивляющемуся человеку, чудесность.

Сначала ловкость и смелость.

Но нельзя без конца сидеть, свесив ноги за окно, или падать со шкапа на диван, чтобы пружины уносили к потолку — эти механические прельщения лишали телесной близости, которую я так любил. Брат не принимал участия, он только смотрел. Необходимость заставила перемениться, я обратился к знанию. Переход этот не был внезапным, и когда, в первый раз, наряду с Пушкиным и Гоголем, я упомянул о Грибоедове (мне чрезвычайно нравилась эта фамилия) я, как часто прежде, прыгал на диване перед улыбающимся братом.

— Пушкин — лягушкин, Гоголь — моголь, Грибоедов — на коне, прокричал я, высоко подпрыгнув, изображая подобранными ногами не Грибоедова, а его галопирующую лошадь. Кто он был — я не знал; в календаре

рядом с кроватью значилось: сочинитель «Горя от ума», но он несомненно понимал, что умные старшие причиняют нам, маленьким и хитрым, много горя и что этого не надо делать.

Однако это, если бы брат и спросил, сказать было нельзя. Итак, я ничего не знал о Грибоедове и, в случае расспросов, поражен был бы я, а не брат; пришлось отказаться от необычайных знаний, они могли породить катастрофу.

При следующем неожиданном посещении, я был взят врасплох: ничего придумано не было, а он был уже тут, целовал меня в голову. И вот, держа его за руку, я быстро сочинил удивительное происшествие, только что имевшее место, и от которого я теперь отдыхал — многих людей я победил, многих ловкостью озадачил, один, полагаясь только на себя.

Не помню, хотел ли я тогда, чтобы он поверил, вороятно да, но никогда он меня так внимательно не слушал и, в первый раз, когда его позвали, попросил не мешать.

— Ты будешь писателем — сказал он — маленький, толстый, лысый. (показав свою лысину и поправив pince-nez), но обидные слова гладили, я знал, что он меня любит, и

хотя предсказание не нравилось, в такую минуту я бы согласился быть даже доктором, резать людей и нюхать кровь...

**
*

И все же от этого успеха изменения отношений я не ждал : слишком грандиозно было разделяющее нас (он жил отдельно в большом городе) — продолжительны разлуки, и кратки встречи.

Только потом, становясь взрослым и злым, узнаешь, что можно забыть людей, оторваться от них навсегда, или с умыслом на время, чтобы привлечь обратно внимание; другие дороги могли бы нас соединить, другою жизнью могли бы мы жить вместе, над другими грузами трудиться.

Праздничный, героический Эпос стал я складывать по ночам, ничего не записывая на память.

О, для самого себя хватали и роли статиста; я всюду был, все замечал, только я умел про него рассказывать — а это хотелось всем; сколько лжесвидетелей разоблачил я, скольким недостойным рассказчикам заткнул рты, скольких завистников и укрывателей истины пристыдил, везде оберегал его, пропове-

дуя об его подвигах. Он участвовал во всем: необычайное — трудное, храброе и доброе не могло произойти без его участия и моего ликования. Чрезвычайная тонкость его облегчала мою задачу, которую я любил больше всего на свете; нарочно, зная мою восторженность он уравнивал сделанное, подводил под обыкновенные, не глубокие причины, тем самым заставлял меня копаться в драгоценных подробностях, сочинять героические стансы сложные и бесконечные. В это время я полюбил отдых и сон — и вечернее — пора спать — ожидал как прежде боялся.

Прелесть запрещенных свиданий — сложная методика их — была испробована гораздо раньше, себя без нее не помню.

Когда умер отец, мне было два года, но я видал его часто, впрочем только видал — сочинять я тогда еще не умел и потому не мог, как потом брату, приписывать ему мои труды. Из разно оттененных пятен ширмы, прямо перед кроватью, складывалась его фигура, а привычка представлять позволяла двигаться видению. Гораздо труднее давалось другое: только одно прикосновение следовало продлить замысловатыми, головоломными ходами, чуть не до следующей

встречи. Разнообразные приготовления делом и помышлениями. Обыкновенно он не замечал меня сразу, несколько раз проходил мимо, потом смотрел и долго не узнавал, как-будто с чем-то не соглашаясь, и это по многу раз. Все творилось медленно, как бы растапливаясь на огне, без особых уклонений от давно установленного : так я засыпал каждую ночь — сны до засыпания.

**
*

Но брат жил, и отдельные периоды его жизни трогали меня, вокруг него расстилалась атмосфера, в которую я иногда попадал; многое из того, что я раньше не замечал стало напоминать его и я знал куда повернуть, где зарыться, чтобы находить эти куски; такие экскурсии никогда не оставались безрезультатными. Стволы и дула, лезвия, черные и блестящие, холодные и теплые, хранили его запах. Я ласкался об них щекой, проходя мимо чувствовал тайное присутствие, пройдя оборачивался в ожидании и любил всех одинаково, как образа над кроватью, медальон с волосами отца и новый календарь, не отдавая предпочтения виду и форме, только те были тусклее и проще, а тут

— массивная тяжесть. Потом, когда я стал их брать в руки, — это были первые тяжелые предметы, — предчувствующий страх уколом сопровождал эту прокламацию, и я поднимал ритуально, высоко держа над головой, не зная как они звучат. Охоты я тогда еще не видал; теперь же, когда по ночам серые и оранжевые выводки куропаток, мертвые и живые, видятся мне, следом за ним хромает брат, как ребенка несет ружье; а на гладкой памяти, мокрые деревья, широкие подолы елей, убранные иглами, белые березы, лунные как Лермонтов — здесь умер, нечаянно разряжая, двоюродный брат, друг старшего.

Новое шоссе... неизъезженное, неиспорченное, людьми только построенное, белое, закругленное, с отливами по бокам. Сколько раз я ходил по тебе, осторожно как в церкви ставил ногу, боясь что-то нарушить, одновременно смотрел направо и налево, но следов не было; только неразличимые птицы шуршали, брызгая крыльями с листьев, да кроншнепы зазывали на окружном болоте.

Я стал заглядывать в потемки стволов, пустые как невидящие глаза, строгие как слепые. Это было превое чужое, что принес брат. Знаете ли вы настоящую прелесть

человека, теплую и прозрачную, не обезображенную долгим знакомством — девственность? О, если бы часто бывали такие откровения, мне бы не пришлось бросить все, искать другое! — но я был уже искушен: — причуды, подвиги, даже смерть тронули меня...

**
*

Так родился единоутробный Мишка, для которого, с первой же минуты его появления на свет, стали слагаться напевы и не хватало только уменья для многоголосного гимна. С чем могло рифмоваться его имя? Книжка, воришка, пышка — только последнее подходило, кое-как напоминало его сущность.

Каким-же он был Мишка? Может быть он был храбрым? Нет таким он не был. Можеть быть, он был умным? Но тогда бы он рассуждал, удивлял бы своей мудростью, однако говорил исключительно я, ему и о нем повторял достопримечательные подробности. Тогда он был красивым? Но и таким я его не чувствовал и не так думал о нем, хотя что-то солнечное было в его приземистом теле.

Целыми днями, по примеру старших, он

уходил от меня, занимался своими делами среди чужих людей и только к ночи, усталый и улыбающийся, прибегал к моей сонной кровати и устраивался поудобнее. Об его дивных проделках я уже все знал ; почти все запрещенное, только за одни сутки, успевал он задеть или даже растормошить и обо всем имел пренебрежительное, наперекор рецептам, представление, и меня подкупали не смелость замыслов, не оригинальность его фокусов (я и сам за день успевал многое), а неизменная откровенность, с которой он обо всем докладывал. Никакого принуждения тут не было, он и не подозревал, что я магически уже все знаю, что отрицать бесполезно. Радостно было ему радостно и мне, и долгие ночные часы проходили в общении со сверстником — я говорил, а он улыбался и тихим шипящим смехом поддакивал. И когда усталый и возбужденный новыми приключениями, я проваливался в сонное, Мишка кубарем скатывался с моей кровати и тутже рядом, на приставленной койке, отдыхал от того же, что я.

Свидания с братом прекратились; немного спустя, зеленую с цветами ширму убрали, но я до сих пор сохранил ровный почерк и многие буквы совсем не мои.

**
*

Да, наши сны не страшны, когда появляются часто, как хорошие знакомые; тогда кажется, что и на затылке глаза и все происходит как в театре, на тысячном представлении. Настоящие уроды рождаются только раз и трудно себе объяснить откуда они и чьи. У них нет имени, клички, даже простого обозначения — так бывает обыкновенно.

Я видал на улице собаку, продолговатую как таксу, но в двадцать раз больше. К одному концу ее была прикреплена малиновая пасть, к другому тоненький, как у слона хвостик, и вся эта постройка на высоких извороченных лапах непревзойденного Louis XV, маленький мальчик подошел и позвал ее : nulle ! Уже раз довольно давно, когда шел дождь, дрожали деревья и дорожки превратились в рыжие ручьи, я увидал из окна девочку — подростка под зонтиком, без головы : черные сапоги и чулки. Я тогда уже слыхал про Гоголя и его чертей без тени и мне очень хотелось пойти разглядеть ее следы, но шел дождь и было страшно.

— Интересно было бы проверить поближе, — думал я несколько дней, но головы не

было, и что собственно стоило рассматривать я не знал.

Я попробовал рассказать про это Ромашкину, но он, посмотрев на меня упругим взглядом, ответил, что таких девочек не бывает и посоветовал не баловать, иначе « Пал Палыч » задаст мне таких девочек без головы, что « потом долго не сядете ». Это было непонятно. Я с грустью думал, что, случилось бы это вторично, я наверно поступил бы по своему, хотя что-то мешало решиться окончательно.

Ну, а что же случится если урод потянется, схватит и окутает, а потом, завладев тобой, даже может быть станет вытягиваться из твоего рта длинной змеей слов? В таких случаях, вероятно, сходишь с ума или начинаешь считать, что все — уроды, или-же, что они совсем не такие отвратные, что и мы можем казаться такими-же другим — объяснений столько, точек зрения столько, что запутаешься и устанешь, а под конец, вместо неисчислимых уродов, убьешь самого себя.

И несмотря на это, все произошло так, как я сейчас расскажу.

Там, на горе над Новым Шоссе, стоял я по праздничному одетый, внезапно выросший, и поверх голов народа смотрел. Все пришли

сюда для меня, поместились плечом к плечу, тихие, одинаковые зрители, и несло разопрелым, безличным духом от нешевелящихся спин.

Серый день был тих как в рамке, ничто не могло помешать, и хотелось выйти из оцепенения, громко звать, показать « каков есмь ». Здесь, только здесь, в этом могучем сборе придет величайшая радость : мы искали могилы.

Я знал, что все они тут, не исчезли бесследно в земле, что надо рыдать и жалеть, но всех и себя, а не мертвых. Впереди шевелили плиты, работали как цари, высоко подымая к небу, а я узнавал их сразу, но молчал, боясь помешать. Только раз потом испытал я схожее : когда умер брат я нашел его руки на старшей сестре и отчаянию не было конца... Теперь же было иначе : мне хотелось себя проявить, потребность увековечить чувство личным проявлением толкала вперед на поступок, но я еще не знал на какой. Радость и отчаяние ! — Вы опять пришли вместе, как две сестры, сговорившись, но все же толкаясь, и давили на меня чтобы принудить !

И тут, вдруг, произошла перемена : чем-то выведенный из созерцательного равновесия, я стал косить по сторонам и заметил, что

и на меня глядят несытыми, любопытными глазами. Не таким они думали меня увидеть, это я сразу понял — и проснулся во мне актер, задрожало дробно все тело и мое неземное лицо сменила случайно упавшая маска. Может быть я их слишком любил ? Кто свернул мне челюсть в улыбку ?

⁂

Кто был этот странный, с которым я очутился в курятнике, неизвестно, хотя на улице, встретив, без ошибки узнаю. Он был сухощав и надменен, выжидающе строг, меня поразила его опрятность, чистое франтовство. Мы сидели, согнувшись на корточках, и рассматривали земляной пол; жирными пятнами бегает куриный помет.

Непонятным было только одно: почему место нашего заключения называлось курятником, ни он, ни я этого слова не сказали за четверть часа единственной встречи — да и кур не было, но эта подробность вспоминается только теперь, тогда же не поражала, как и все испытание, которому должен был подчиниться.

Прямоугольник; на неотесанных стволиках, как сеть, паутинная проволока, концы

торчат в разные стороны — можно уколоться. Колючая проволока, когда-то редкая и интересная, много раз ставившая в наших играх легко побеждаемые препятствия.

Маленькими руками держишься за нее как раз между иглами и лезешь по ней как по лестнице, с одной стороны подъем, с другой спуск, и только на один миг, на самой верхушке, когда перекидываешь ногу и садишься верхом, нужны равновесие и ловкость, — а она переносит все, только вздрагивает и звенит.

Впрочем бывали и неудачи, хотя только смешные, тогда рваными треугольниками висели куски материи коротких штанов, а иногда, что еще смешнее, виднелось тело; несколько раз раздирали руки и ноги, но об этом говорилось презрительно, впопыхах, хотя чем больше была царапина, чем больше капель крови, тем хвастливее было лицо.

Разве и сейчас будет игра? Нет, прелести и принуждения нет. Сначала я думал, что плодотворнее сопротивляться, что повторными отказами, предлагая взамен другое, наконец, отчаянными криками можно отделаться или переделать по своему опыт, однако эта уверенность принесла с собой столько тяжелого, все удесятирялось, разбухало, не-

пригодный метод сам себя задушил, оставив исключительно ужасающий след, холод в спине, соленые слезы и икоту от них; потом приучился подчиняться лениво и монотонно, как кинематографический статист выполнял требуемое, зная, что если с первого раза не удастся, придется повторить и следил лишь за тем, чтобы самого не царапнуло, чтобы волнение было мертво, только система жива.

Конечно бывает и иначе : вдруг например захочет принудить женщина, которую давно ожидал, как и она может быть ждала случая подойти, ведь это тоже принуждение — отказаться невозможно, охотно сделаешь и это, и больше, — а одновременно прелесть... Но на птичьем лице соседа, в симметричных морщинах я прочел совершенно другое : его это не волновало, не так он искал объяснений в ловких психологических фразах. И как фальшивый гудок, нарушающий мир, прозвучал мне ответ : « не охотно, а похоть ».

Моментально все стало ясно, от него ничего не скроешь, из двух возможных решений он уже знал какое мое — как я вылезу на свободу, сразу, сейчас, торопясь, хотя времени сколько угодно — тут советовать трудно, только понятно, что себя надо тратить потом, чтобы забыть авантюру, помет и соседа, а на

это уйдет почти жизнь, о которой хотелось бы думать иначе, постоянно меняя ее. Да, решение было постыдным, стегало и жгло; моя чудная одежда, которую я так полюбил, могла пострадать от игл (мешало пальто) и на верхний лестничный путь я боялся вступить; низом на животе проползешь в секунду на волю, а потом будешь чистить ткань, вычистишь все, ничего не оставишь...

Это он, своим бритым лицом, навязал мне такое решение. Может быть его надо развлечь, рассказать такое, чего с ним не случалось, или что он давно позабыл, заслужить его помощь или, наоборот, оправдаться умело заранее, а потом ни с чем не считаясь грешить, как броней покрываясь следами.

Как-то шел я по снежной земле, а по смежной дороге, пара серых в санях, высоко в обе стороны выбрасывая передние ноги, поравнялась со мной; покрытые синей сеткой, швыряли они по бокам комки снега, покрикивал кучер, засекали подковы, и я пожалел, что скоро забуду все это, что кони и я разойдемся, и не знаю зачем, для кого, захотев сохранить этот миг, искусственно, несколько лет подряд заставлял себя думать о моем впечатлении. Сначала легко вспоминались подробности : вся дорога, весь бег — все было

цельно — потом постепенно одна за другой, они пропадали, а под конец только одно движение осталось от этой картины.

Зачем? Он сух и строг; вечная память ему непонятна, лучше такой эпизод где больше дела и жизни, где я сам ходил и творил, ну хотя-бы как в двенадцать лет заблудился в нашем городке.

Заблудиться можно в лесу, в очень большом чужом городе, где люди глухи и немы, а не тут в четырех кварталах; впрочем о двенадцати годах лучше не говорить вообще, эта немощная подробность может не только вывести из терпения непокладистого человека, но и враждебно настроить.

Двенадцать лет: гимназия и футбол, даже первые неприличные анекдоты, почти заглядывание в женские лица на улице, где стыдно ходить с ранцем, а с портфелем спокойно и важно, куда по возможности кладешь мало или только тонкие книги, совсем как пятнадцатилетний; тогда только снег выводит из равновесия, скидываешь шапку под ноги, помечая место, а потом, едва поспевая за желанием лепить, бросаешь снежки, как паровоз сопя окружающим паром.

К черту глупости! Только разврат и бесстыдство прельщают таких как он (Шехера-

зада не прожила бы и ночи с таким чучелом). Ты это давно понял, а еще защищаешься и не хочешь признаться; здесь отдается какая-то дань самолюбию, знаю, но знать не хочу и заставить меня не может никто говорить откровенно о чужих интересах; трясогузки под проволокой, как карликовые женщины, подпрыгивали сжатыми лапками, ничего не приходило на ум, тяжелое темя гнулось к земле.

Да, колдовства и фантазии у тебя мало, ты, пожалуй, не прочь рассказать о себе, понатужишься — что нибудь и выйдет, но, по мальчишески взъерошенный и пустой, ты боишься подробностей повествования: уменьшительных имен, мелочного предпочтения к отдельным словам, работы о скрытии личности. Тут еще можно вывернуться или незаметно для самого себя пробраться мимо, но как только это удастся, черным хребтом встают такие углы души, от которых съеживаешься обратно в комок и покорно ждешь, чтобы ударило в голову, хранительницу недостойного. Бывало и так, что ты вдруг избавлялся от страха, позволял себе все без пределов: « Из пола эти деспоты » сочинил по особому, из двух слов сделал четыре, Его Самого возвел в католический

чин, а потом объяснял и думал, что и так хорошо, даже лучше и крепче молиться.

И все-таки самым ужасным было оно, от которого ты отказался называя чужим и случайным явлением, хотя приходило оно к тебе-то, всегда, когда ты бывал один, прячасть от людей, как ты сам.

Когда эта река, где ты вчера гулял, вышла из берегов (не к тебе она вышла, даже не за тобой, и ты днями проходишь мимо, не замечая ее), почему окрестил ее собственной, мутной дорогой? Ах, красива она, постоянно улыбается, и зовет, выкупаться в ней, выпить ее, забрызгать дома и людей! Но твоей она никогда не была и таких чудаков как ты много ходит по ней и вокруг, подмечая ее загадочность, гнев и улыбки и, как мертвую, бесцеремонно знакомят со своими затеями, рассказывают про нее и врут. Даже какой-то путанный сон сочинил, где хотел, чтобы все знали о том, что могила твоя ее русло, положил туда гроб, высушил воду — так величественней и смелей думать об этой реке.

Прекрасная утонченность, посмотрите какое я выдумал, без ошибки слагал слова и, опираясь на них захватил такие образы, такие далекие дали, что теперь кое-как про-

бираюсь к концу и не знаю, где он и в чем; а слова бегут как табун, за большими малые или наоборот, и законность, порядок заметны меньше всего самому. За моей спиной ворохи таких слов; когда-то они помогали скользить от сегодня до завтра и хотя столько раз ранили душу и тело, рубцы можно состругать; да и никогда не бывало человека, не стремившегося именно состругать действительные печали и начать жизнь по новому. Только так это возможно, пусть все злое на памяти стихийно погибнет, и тогда озарит тебя настоящее. Испорченное поправить нельзя, надо его уничтожить и на последнем, удобренном корне поднимется новое : а его уже беречь легко и приятно, даже просто нельзя не беречь, только малую помощь извне. Помогите мне!... дайте понять, почему оно каждый день подлезает ко мне, цепляясь черными, волосатыми лапами, несет корпус без головы ? Чаще всего оно двигается, юрко припадая к земле, но не просто бесцельно, а куда-то по назначению с деловитым покачиванием; иногда ритм меняется, безголовый обрубок кувыркается резко, и это обычно приблизившись к цели, так что на новое место не прибежит, а вонзится не то лапами, не то шрамом, где прежде была го-

лова. Его переменную прятку я знаю всегда, отыскивать не надо — кто занимается тем что ищет гадливое, не убивая ? — Какая-то часть его тела всегда видна мне небольшой, черной точкой. А интерес к нему все же есть, хотя разглядывать жутко ; как трудно изогнутую фразу, то близкую по смыслу, то удаленную, — чувствуешь его присутствие. Так попробуй, спроси почему оно своим домом избрало тела твоего окружения, иногда, не сделав и шага достанешь рукой; только без чепухи, то что нет головы тебя не пугает, и когда говоришь что разговор — диалог тебе не под силу, замысловато врешь. Или все-таки хочется встать на камень в бессловесной пустыне и начать проповедовать, читая на лицах одобрение и похвалу, без чего до сих пор не сказал даже нескольких слов без заминки ?

Нет, опасность в другом; оно многое знает и укажет тебе в ответ такое, без чего не сможешь прожить, всю энергию отдашь, чтобы собезьянить удачно : ты боишься, что разговор перерастет собеседников, что из кармана, как ты платок или спички, оно вынет грех и поднесет как вкусный кусок или редкую игрушку.

Помнишь такие раговоры ?

Оба смотрят на небо, мимо голов друг друга, из груди с трудом выжимая слова — исполинские гири. И кажется, что ты на ярмарке, что в ответ из картонного брюха индейца, борца-великана, говорит худосочный горбун с воспаленным взглядом тонкими, бескровными губами.

А потом тяжело и страшно и не знаешь, не начать ли сначала опыт или назвать все, даже самого себя, иначе насыщенными словами ?



Только раз я смог рассмотреть его тщательно. Очевидно почуяв мое беспокойство, оно не стесняясь скакнуло на середину комнаты и сделало несколько раз подряд непристойное движение, просто так в пустоту. Я затаился и ждал, захотелось увидеть как это делают бесы; но как часто со мною бывает, любопытство и злоба (на себя, на него, на всех), вместе толкаясь пришли. Я вскочил, маша руками, крича громче чем надо, будто придется сейчас напасть на здорового беса. О, если б я захотел, одним сапогом раздавил бы его, как слабо надутый мяч или ватное одеяло ! Вот почему стало оно отходить,

шипя вроде хищного зверя, пятясь и спотыкаясь, даже виляя, чтобы разжалобить и заманить. Вероятно убить его трудно и я бы тогда промазал, если решил бы серьезно, а не так, « для общественного мнения » обезвредить его.

Вот что творилось в моей голове, и о проволоке, об испытаниях этого бритого не было времени и думать, — охота сопротивляться пропала. Почему эти метлы воткнуты в землю вверх головами и зовут их различно красивыми именами по листу и коре? Я стоял по ту сторону проволоки и чистил пальто, — жирными пятнами ложится куриный помет, — а по вспаханной влажной земле, уходил широко шагая под гору, не двигая плечами — вешалками, неприятный сосед по заключению, удивительный сердцевед, унося пометки о только-что прожитом.



— О солнце жизни!

Громадная голая земля, борозды и бугры похожие на волны, глубокая с пряным запахом, почти та же на вкус и на ощупь, удивительно разная, когда превращается в лес, луга и посевы, везде полукруглая, на горизонте трогающая небо.

Всего про нее не скажешь, не заметишь и теперь, когда я что-то закончил, больше хочется отдыха, сна — забыть.

Обязательно надо лечь, взять такую ясную книгу, где люди живут как комары, и все дни недели похожи. Хотя испытание прошло, сразу время пришлет другое, и когда принесли газету — в острых складках с лекарственным запахом, — я схватил обеими руками нетронутую вещь.

Вероятно так лучше: перемены заботы очистят сознание, пронесут по мосту на другой полуостров, барабаня по скрепленным балкам, отбивая положенный ритм.

В проходные дворы. Там с тобою о правде говорить будем долго, словами шурша и другого следа по себе не оставим, ни на что никогда не решась...

Шумы и шорохи сразу запели, развлекая заманивая вдаль, память и внимание несколько раз переключались на близкое и опять ускользали в пространство, было холодно, но стало тепло и какие-то маленькие предметы — во мне, вокруг и везде — начали постепенно расти, принимая различные формы.

Очень быстро их стало много, круглые как лица, длинные как трубы, мягкоть свежая

в которую хочется лечь, медные корки ломающиеся со звоном, с трещинами, воронками и берлогами, будто поверхность планеты.

Грандиозный оркестр, заполняющий ушные раковины звуками, принимающий цельную форму того, что граничит с таким же большим, непонятным, космическим как и я сам.

Тут были не одни звуки; постоянные переполохи в разные направления, то острыми загзагами, то витыми линиями переменного радиуса. Как ледоход на реке, пожирающие друг друга льдины громоздясь строют горб, так и это росло, изменяясь наружным видом, но сохраняло свою мягкую сущность.

Да, боли не было совсем; удивленное тело глядело на эти перерождения, перестройку клокочущих сил, и только сам хлеб удивлял неожиданными как на бульварном стрельбище положениями, где все держится на невидимых нитках и так же непонятно висит как и падает в воздухе.

А как вкусно стало во рту, какой ликующий запах, пробиваясь везде захватил мой язык, волочил за собой на вершины и оттуда опять в подземелья! Я бежал, торопясь за порывом, все готовый отдать и вернуть, ни-

чего не оставив себе кроме жизни. Дальше лился мой бархатный сон, переливался, обнимал весь мир; заключаясь как руки в объятиях, летели видения, подражая все время себе, как прекрасная музыка разливаясь изгибами, рвущаяся вперед, будто беря разбег на препятствия, на пропасти, в рай.

И совсем очевидно стало, что есть смысл в этом сложном объеме очень точном только на первый взгляд наполняющем непредвиденное пространство, что нет цели, трамплина и их разделяющей линии, лишь сама бесконечная суть, не то день, не то мир, не то Бог. Для того чтобы это усвоить, надо научиться летать — руки как крылья, а ноги как руль и ликует дыхание.

Наконец я очнулся... Кто-то тянулся ко мне со спасательным кругом, отдавая охотно, без возврата, а я почему-то еще не решался, медлил и удивленно смотрел : в дверях спальной стоял мой компаньон по постройкам. в каждой руке держал принесенную вещь и, в последний раз протянув, сказал :

— C'est le pain et le lait.

В СОННОМ ЦАРСТВЕ

Так начинается жизнь — молись ! Я, стоя на коленях в кровати, когда электричество уже было потушено няней, много раз подряд повторял « Отче наш » и другие молитвы все в том же порядке, сам себя наказывая за рассеянность и заговаривание. Потом, преуспев, благодарный, давал обеты « когда вырасту большим », но восстановленный мир непрочен, опять и опять набегают сомнения, и только сон, чистое ясновидение, прекращает угрызения совести. Так ли это действительно было ? — да, так, хотя самые первые воспоминания, геркулесовая каша, боль, когда стригли ногти на пальцах ног, розовый чепчик еще одетого девочкой младшего брата и горе, что нет отца.

Засыпаешь, почти заснешь — что это, тронули за ногу ? — проверишь пространство руками, нет — показалось, ляжешь иначе и снова полузаснешь, черные крылья штор не

примыкают вполне : стальная ночь. Босиком по холодному полу, — запрещенная прогулка — пробираюсь тихонько к окну, прильну лицом к стеклу; близко стоят ночные дома, невыясненные люди крадутся мимо, будто мазурики, попыхиваютъ папиросами, даже свистят. Как хорошо подвешена луна, — тонкий землистый лист с заколдованной пылью вокруг — циркули лучей оттуда щекочут глаза, заплывают тучи — рев тишины... Где бы мне притаиться ? Быстро бегу обратно, прячусь головой под одеяло, ожидаю с бьющимся сердцем и надеждой на ангела-хранителя... кто-то дышит за дверью.

— С попутным ветром, — сказал поперечный прохожий, взглянул на меня и загадочно улыбнулся : « торопись, а то опоздаешь к раздаче подарков ». Надо встать и пойти, не веришь, что сможешь оторваться от постели вторично, жутко, оторвешься, а нечего взять в руки, не удержишься за перила, чтобы подняться по узкой, сквозной вьющейся металлической лестнице, ускоряя походку, будто от погони, но я пробую встать и мне это легко удается. Подо мной начинает скользить глубина, мерцают блестящие тела с мрачными, зеленоватыми дырами между, — свистопляска точек и запятых — сито света,

волшебная крупа, ее много, больно глазам от слез, преломляется зрение, скорей, торопись, оттолкнись посильнее ногами. Боже! Боже! — но явился не Бог... Ленивая луна, отделенная синей канавой, прыжок, и я там на твердыне, на первой странице книги, пропастью отделен в сонном ущелье. Что будет со мной? Страшно спине, а ногам тепло. Вокруг растворены павлиньи многоглазые цвета — приправа места, летучие пузырьки моего вознесения игриво клубятся по воздуху — только что пройденный путь; смотришь будто через цветные стекла на заманчивые замысловатые узоры.

Можно ли мне здесь остаться, не закружится ли голова? Не бойся, высота это сон, если не выдержишь, просто спрыгнешь обратно на землю, это тоже сон... Осторожно скрипит дверь, электрический свет проникает полоской и я узнаю спальную и снова обычное чувство, ночник мигает, заливается ветер-ребенок, колотушка сторожа, часы « на часах » и голос :

— Ты опять не спишь, с кем ты разговаривал ?

Нет, не скажу; меня встретил надзирающий за поведением гуляющих сторож парка в алом кумачном кафтане. Не дед ли мороз,

со свечевым каретным фонарем и ледяным узором на огарке? Я только что хотел вежливо снять перчатку и протянуть ему правую руку, как ты позвала меня. Он наклонял приветливо остроконечный колпак звездочета, усеянный планетными знаками — весы, дева, рак, лев с хвостом, завязанным бантом. Что он мне сказал? — ничего не успел, лишь кланялся и благодарил, что я незваный зашел к нему в гости — приходи еще, придешь? и, прикладывая к моему уху золотые часы, чтобы я послушал звон механизма, обещал рассказать о своем житье-бытье в следующий раз; настроениями дышала его борода лопатой, — как бы приклеенная под нижней губой, может быть впрямь не его настоящая, а маска, — благосклонностью и предостережением... противоречивый, добрый старик.

Вот что он мне оставил, запомню навеки.

Смотришь на вещь, долго пристально всматриваешься, стираешь ее прикосновением взгляда и она видоизменяется; она та-же, только стала казаться иной, старое знакомство с ней нарушено, я даже могу смотреть сквозь нее, она ответно не трогает меня. Остаюсь я один, сосредоточенный, с тяжелым весом в голове, и что-то огромное, пустое образуется за моей спиной, но такое глубокое

и так близко, что шагу не смеешь сделать назад, а обернуться, рассматривать нечего, хотя тянет.

Это мне будет удобно вызвать во время уроков в безвыходные часы — века, когда живешь до установленного поворота стрелки, а слушать не можешь; от углубленного взгляда узнаешь настоящее, обычно же видишь не вещь, лишь объяснение ее: интересен первородный облик — начало.

Второе страшнее. Что-то маленькое, кругловатое, плодообразное рождается во мне, а иногда поблизости, вне меня; однако скоро всегда затем перебирается в мое горло, вернее куда-то между горлом и небом, и там начинает расти до соприкосновения своей гладкой плодообразной поверхностью с небом и горлом. Запнувшись, чтобы я мог оценить это первое превращение, рост угрожающе продолжается, захватывает и меня. Беспредельное увеличение самого себя; крошечными становятся кровать, комната, дом. Я такой огромный, что плохо двигаюсь, давлю на окружающее; уже не неба, а неба коснулось беспредельно крупное, внутреннее, мое; весь мир и я одно целое, мои руки простираются далко, я в воде, воздухе и даже огне,

а когда сразу потом просыпался, день начинался с трудом...

Это такое мучение, когда требуют, чтобы ты точно повторил, о чем думал, а если решишься и скажешь, то обязательно заподозрят, что не все говоришь, но это правда все; старик не успел ничего мне сказать, передавая охапкой свои настроения духа. Еще несколько раз неизменно волнительно я встречал его с лучезарным фонарем в лунном пространстве, а чаще в любимой книге « Сонное Царство ». Дружелюбный, молчаливый он, конечно, все понимал и совсем не старался разузнать мои тайные планы. Безногие пасти-пропасти послушно отдыхали под его руководством, не шевеля не страшными, а редкими мордами, подчиненные птицы, (у каждой свое оперение), парили вокруг его головы, махаоны, жуки опускались с полета на складки его кафтана, а в тяжелом бору по звуку слабо открытого крана, я без труда находил родники среди мшистых гранитных глыб чалого конского цвета со светлыми зернами-находками кое-где : железный вкус ключевой воды.

На мгновение озаряется абажур самоварной лампы — все на месте : изразцовая белая печь до потолка, кровати, моя и младшего

брата, в белых чехлах с сетками по бокам, на перилах наши ватные китайские халаты приготовленные на утро, ширма, стенная аптека — хранилище микстур, и внезапно бледный ночник — ночной nature morte и я, говорящий : « я сплю ».

Зачем помешали ? От света и голосов исчезают видения яркие в темноте, что по сравнению с ними чтение по печатным буквам, а обязательно хотят чтобы я много читал и стараются подхлестнуть мое рвение : — « не дам тебе новой книги, пока не прочтешь до конца старую и не расскажешь своими словами содержания — у меня есть преинтересная про Египет ». Я нашел ее нечаянно на твоем кресле и успел перелистать. Удивительного в ней мало, она в некрасивом переплете, почти без цветных картинок, только неинтересные для раскрашивания фотографии : пирамиды, гробницы фараонов, каменные гости с непроницаемыми ликами, работающие негры, белые надсмотрщики в тропических шлемах — раскопки древнего мира. Откровенно говоря, совсем не тянет прочесть и, вероятно, не запоминается содержание.

« Хорошо, постараюсь завтра », правды все

равно не скажу — я предпочитаю мою бесконечную книгу « Сонное Царство ».

Ведь там есть и целая легенда про Вареньку; ну, это между нами, даже няне ни полслова. Ее заточили на луне ведьмы — почему мой старик не попробовал освободить потихоньку: ум за разум заходит (не так ли сердятся взрослые) ? Он старый бессильный, может быть, как и я преклоняется перед силой нападая на слабых, не храбрый, добрый : насилие над слабыми не насилие, насилие над сильными — насилие, а он не любит насилия — миротворец.

На стреле моего лука я пошлю ей запечатанное сургучом письмо. Варенька, так было показано в книге, скользила по звездному небу в длинной ночной рубашке до пят, расставив, как когда ходишь шагом, кукольные, бьющиеся ножки, вероятно, украденные прямо из постели, и золотые ее волосы были собраны бантом — получался сноп; лишь на последней странице, уже возвращаясь домой, бант был потерян и волосы развевались вокруг розового лица с детскими неразличимыми чертами и круглых, голубых, выпученных от удивления, глаз, под пушистыми ресницами — не думала так скоро возвратиться, и уже забыла про свои несчастья. Лучи фонаря

звездочета, хотя утро уже наступило, были направлены на нее, когда он, стоя на тучеподставке, прощался и кадил ей вслед бородой. Вкусное яблоко-подарок держала она обеими руками, не хватало большого откушенного куска, а следы молочных зубов были ясно видны.

Вот об этом приятном я и подумаю засыпая, постараюсь до мельчайших подробностей запомнить полет на луну и чтобы опять все повторилось так, как я видел, читал, наизусть помню. Я теперь уже знаю кого там искать в пещерах и подземельях, под соборным шумом строевого леса, среди скрипа смолистых стволов, где столько чудесного на земле и почти не видать неба; шишки, брусника, волчьи ягоды, мухоморы — избушки для гномов, дикая спаржа, перелетающие с ветки на ветку белки : слушай ! — певчие птицы поют, дятел стучит дровосеком, ку-ку, ку-ку грустно, по-русски, кричит кукушка (кукушкины слезки) — сколько лет мне осталось жить ? Но как их поймать ? — посыпать соль на хвост ? — я еще не выяснил чудодейственной силы соли. По мягкой хвое буду скользить под гору, взбираться на подъемы, держась за липкие ветки, упираясь носками туфель об лапчатые корни, о кротовые ходы, о норы

барсучьи, лисьи, или совсем неизвестных зверюшек, а чтобы найти дорогу обратно, запомню метки стволов, где, в морщинах коры прячут лица коварные ведьмы, почти невидимки; они завлекающе улыбаются мне, но я-то знаю, как должен держаться, — предупрежден. Вороны, траурные дамы с охрипшими голосами и гнездами, как парики, тоже помогут не заблудиться; для приманки я возьму с собой сову — так даже стреляют ворон — и буду кормить ее по дороге кусочками хлеба, осторожно неся за пазухой, боясь растрепать ее перья, тронуть тельце-сердце.

Варенька встретит меня, поцелует, удивится отважной затее, покормит сову, а потом в путь-дорогу. Вдвоем, держась за руки, как когда бежишь под гору и не можешь остановиться, мы быстро причалим на землю; я лежу на самом краю постели, спиной упираясь в сетку, одна нога заложена под прохладный матрас, подушка на голове, так, на ощупь, даже неясно где я нахожусь.

Засыпаю, находя и теряя бесчисленных нежных Варенек с мягкими волосами, буду спасать их поочередно, пока не стоит выбирать какая моя и добровольно подчиняться их милым желаниям, радость ожидания,

пусть не очень скоро наступит завтра... игры впереди, кто за игры? Я; я только боюсь одного Бога, но зато я молюсь ежедневно, сам сочиняю порядок поминовения за длинную ленту даже мало знакомых людей...

Мир сотворен Богом, я сотворен Богом, кто сотворил Бога? — уже коченея от сна успевает моя голова.

***

Пламенный шум воды, зловещие волны-качели, пена и ветер. На зеленом Балтийском море я впервые увидал дымки пароходов, надутые паруса кораблей, пловцов, неизвестно с неба или моря бегущих барашков. Сирень и черемуха заключают дома нашего города, полуголые, только развалины замка, где при лунном свете кружатся летучие мыши и ходит Белая Дама, замурованная.

Праздник: играет оркестр. В белых штанах марширует мимо окон, красный барабан последним, один тащит его за плечами, другой с размаха бьет, дети большими шагами силятся идти в ногу музыкантам, забегают вперед, заглядывают им в лица, машут эстонскими флагами, на длиннейших нитках воздушные шары, на них солнца и петухи,

старые высоко не взлетают, вот оторвался один и исчез в поднебесье, бумажный змей кувыркается в воздухе, собака везет тележку с молоком, звенит ее колокольчик — ура, ура, снова воспрянул гам в переулке, поднимается к нам, а мы смирно смотрим из окна комнаты сестры, только что все болели коклюшем — гулять еще не пусают...

Гавань, толпа, выгружают по сходням. Что это выкатывают? Громадные сыры, не может быть, ведь это нечистоплотно, как же потом класть на тарелку — не от этого ли детям сыр вреден: жар и расстройство желудка. К пристани пригребли рыбаки, пронзительно кричат торговки над корзинами крепко пахнущей рыбы, вот еще бьется одна, выпучив глаза дышит кровяными жабрами; чайки с полета клюют добычу; матросы, но не в матросской форме, только красные якоря на синих фуражках, перекликаются по непонятному — редкое зрилище.

Впрочем и мы стали делать необычное — прежде купались весело дома вдвоем, а теперь в грязевых ваннах в лечебнице. Чужая женщина напускала горячую соленую воду и гладила по голове: отвратительно пахнет липкая грязь — осторожно, чтобы в глаза не попало, а кожа от нее делается сухой и глад-

кой, будто присыпленная мукой. Полезная грязь, вырасту большим сильнее всех, но что делать теперь, где гулять ? Наш сад маленький, разбежишься и сразу глухая стена; не заглянешь в соседний, витые дорожки между кустами шиповника приводят обратно к дому иногда так неожиданно, что не сразу узнаешь его : я не люблю это отсутствие места для игр.

Гремя по булыжнику весело подъезжает парный извозчик; открытое ландо, только один из нас, чья очередь, сядет на козлы, спиной к лошадям считается тоже интересным местом, сидения пахнут нафталином, погребец с едой и самовар прикрепляют на запятках; по полям вереска мы поедем в сосновый лес собирать сморчки и рыжки, — хорошие, не червивые, — корни в песке, а на шапках роса и приклеелись иглы и мошки. Кто больше найдет ? Если потеряешься в лесу, надо кричать — Ау — : почему ау ?, спрашиваю я — все равно, если хочешь кричи другое — улыбается няня. Может попасться гадюка; что они ядовитые, нам объяснили и запретили трогать, хотя одних все равно далеко не отпускают, а на ежей они не похожи; этих легко приручить, пьют молоко, как послушные дети, и привыкнув не прячут мордочку,

ощетиниваясь и замирая, продолжают двигаться, как ни в чем не бывало, ловят мышей верней мышеловок, кротов и даже гадюк. Иногда мы доходим до лесного озера; там рыжие сосны с обвала низко склонились к воде, на них можно удобно сидеть, это и делают рыболовы, притаившись так тихо, что совсем незаметны; « рекомендую сие место любителям рыбной ловли, червей приносить не надо, тут найдете, зане колония цапель по соседству », доверил нам по секрету дьякон, и стояли недвижно вместе, он на берегу, а в воде его отражение вниз головой, как король червей. Однажды мы поймали ежа, положили его в пустую корзину, прикрыли другой, чтобы не вылез, и повезли домой; когда же сестра уколола палец — иглы торчат, как чернильные перья, и назвала его гадким, все согласились, что он воняет и выбросили на ходу : бедный еж, далеко ему до норы, хотя у зверей побудок. Почему иногда бывает жаль через меру : так жалеешь морщины няни, ее некрасивое, дряблое лицо, старых животных, вид негодных игрушек и тех, кто их подарил.

Няня часто не понимает меня.

— И зажили они припеваючи на славу в новой избе, конец, — радостно говорит она и

захлопывает книгу; несмотря на запрещение учительницы, — пусть сами стараются — она потихоньку читает сказки, которые любит сама.

— А дальше что ? — спрашиваю я.

— Дальше конца ничего не бывает, конец всему делу венец.

— Почему не бывает ?

— Вот твоим « почему » конца никогда не видать ! Хочешь, другую начнем ? « В некотором царстве, в некотором государстве у самого синего моря жил старик со своей старухой ».

— Нет не хочу, скучно, — ною я; мне хочется рассердиться, сказать что нибудь дерзкое, но я вовремя замечаю, — как это я проворонил ? — что мы не одни, что у медной заслонки печки на корточках сидит, откуда ни возьмись, истопник, шепчет непонятное, подбрасывая поленья в огонь — слышал ли он ?

— Что же ты капризничаешь, может-быть устал ? Давай мыльные пузыри пускать или карточный домик построим, я тебе помогу.

Так бывает всегда, раздражаюсь я внутренне; Илья Муромец, Бессмертный Кощей, Соловей Разбойник, Иван Царевич и Мурзилка, завершив свои подвиги и проказы,

навсегда по заказу исчезают и мне кажется, что они напрасно не пожили дольше, не померились силами в какой-нибудь сложной борьбе : почему ?

Мои собственные сочинения отважнее, не похожи на сказки. Подпоясанный туго, с кремнем для огня, рогаткой и дробью в карманах, с топором, как индеец, я готов отправиться в путь. Тогда, закрывая глаза, я видел перед собой фиолетовую долину, узкую как коридор, да и впрямь ли не коридор — коридорную долину, и я, проникая туда без усилия, только в самом начале продвижения задевал ее шершавые берега, скоро она расширялась и неземная панорама, туманные извилины вида, необитаемая тишина приковывали внимание и под конец без волнений, до подвигов, бархатным сном усыпляли меня на ходу.



— Кто кончил приготовлять уроки, может пойти играть; — оторванный угол промокательной кляксапира выпил чернильное пятно, превратился в гущу.

Непонятно : я ли нахожу, что кончил, или — кто кончил приготовлять уроки ? — как

будто они сами по себе решают, как поступить, но не надо задумываться, чуть-чуть приподнимешь обложку и страницы быстро замелькают, учебник захлопнется сам и не стоит отыскивать потерянное место : взгляд по сторонам, заметили-ли ?

— Иван, ты разве выучил басню или опять ленишься ?

Ого, прав то оказался все-таки я, дело оказывается во мне, а вопрос не при чем, это когда они задают каверзные вопросы, на которые легко, но не выгодно отвечать : кто начал драться ? ты старший ? и ты считаешь, что это правильно ? — Я умею считать до миллиона, но приготовлять уроки сегодня больше не буду, а сегодня только другое название для завтра — это про себя, конечно, но и вслух надо ответить.

— Леонид Антонович, вчера мне Ромашкин сказал — ваше сиятельство, как ваши обстоятельства — что это значит ?; он улыбается, я доволен, что так просто отделался и убегаю в игральную, где на полу на коврике сидит младший брат, нижняя губа его отвисла (признак размышления) и поет :

«Жил на свете старый кот,
У него был сильный пот,

Отзывался он ванилью,
Он кормил им всю свою фамилью».

— Хочешь в солдатики? — кричу я, вбегая; его любимые игры в прятки и играет он в них очень ловко, но не смеет признаться в столь позорном предпочтении перед моим напором и потому хитрит.

— Зачем сразу играть, лучше расскажи еще про то, что ты вчера рассказывал, а у дедушки тоже черкеска и кинжал?

— Конечно, у него даже собственный конвой и поезд. Я сам еле помню Кавказ, но Петр совсем ничего не помнит и очень жалеет об этом, а потому смело описываю ему снежные обвалы, кружащихся орлов с добычей в когтях, фуникулёр на горах, военно-грузинскую дорогу, по которой я никогда не ездил, и действительное, хотя только по рассказам запоминившееся происшествие, как остановился в пути наш поезд, раздавив конного горца».

— Горца? А что они делают горцы?

— Дурак, грабят. Тифлис в Азии, почти на Турецкой границе, такие страшные рожи увидишь, если пройдешь по базару мимо шашлычных, и ни слова не поймешь; а в парке у нас жили ручные олени, черепахи и

громадные, злые овчарки... — ну довольно, кроме страшного больше ничего не помню, давай играть, а то еще заплачешь.

— Сначала возьми свои слова обратно, почему я заплачу? он любит говорить поднимая указательный палец, но я вижу, что солдатики уже кучей лежат перед ним и что он начинает строить из кубиков башню.

— Хорошо, беру обратно, только под одним условием, играть будем в крестовые походы — ты турок.

— Не хочу быть турком.

— Тогда триполитанская война. В « Огоньке » хоронили чумных, одетые в белые халаты итальянцы с завешанными лишами (только дырки для глз) и походили на толпу привидений : — « и ты опять-таки турок, как ни верти, ты турок рыжий и поганый ».

— Не хочу, и лицо его перед плачем знакомо переделывается.

— Я тебе дам три четверти всех солдатиков.

— Понимаю, а себе возьмешь лучших.

Нетерпение охватывает меня, я кричу ему, что он глуп и туп, что никогда не буду больше играть с ним ни дома, ни у двоюродных братьев, преследую его по всей комнате, тря-

су кулаками перед его носом : уступает всегда он.

Много жестоких; чалмы, фрески, кривые ятаганы и крики « Аллах »; мало смелых, панцыри, мечи с крестоносной рукояткой, я сам один из рыцарей, Ричард Львиное Сердце, ни за что не хочу быть Иоанном Безземельным — жаль, что их не звали наоборот, а то брат дразнит (уважай старших, учат нас), его зову Петр Кифа камень — это тоже жаль, хотя я Иоанн, самый любимый из апостолов; нет, я Креститель Иван Купала, кругололицый чухонский « Кокка » с цветущим папоротником в руке и светлячками на верблюжьей одежде : прыжки через костры на низовом берегу Охты. Этот нарицательный спор, единственный без уступок, спор Иван-Петр, кто умнее, красивее, кого больше любил Христос, кто больше творил чудес, обращал в христианство язычников, длился годами без конца и начала, утихал, снова вспыхивал, сопровождался драками и остановкой игр.

— Ты не можешь быть Ричардом, Ты — Иоанн Безземельный, ни шиша не имеющий, это я — Ричард.

— Да, но ты Петр.

— Петра в этой игре нет, а потому я, ско-

рей чем ты, Ричард, так как Иван — ты, но перевешивающее значение имели три четверти воинов и, несмотря на невяжущиеся имена, крестоносцами, до самого заключения пленного Ричарда в замок, командовал я. Мысль о задаче на завтра, нарочно неправильно решенной (так быстрее) еще несколько раз приходит на память; не стоит задумываться, а если сегодня захотят проверить решена ли она, то конечный ответ правильный, списан из решений в конце задачника, для правдоподобия лишь переставлен порядок слов.

Итак, игра начинается. Чудные подробности : пустыню, феодальные замки в оливковых рощах старались мы изобразить из нами-же сотворенного материала — обыкновенные игрушки не подходили. На чем это мы вчера остановились, помнишь ? — днями, неделями длилась одна и та же игра, эпопея со смертью и воскрешением героев.

— Ты ее решил ?, шепотом спрашивает Петр, оглядываясь на дверь, « скажи по правде, ведь по глазам вижу, что нет ! ».

— Конечно, решил, ничего нет трудного, своим способом решил, все ахнут от удивления.

— А завтра без сладкого ахнешь ты, — он скептик и остряк, милый, рассеянный, спо-

собный, раньше меня научился смотреть на часы, хотя чудак, не умеет развязать тугой узел на шнурках туфель, боится чихать, зевает во сне, упав ночью с кровати не просыпается, продолжает спать на полу, а когда мы играем в войну и я убиваю его любимых солдатиков, тихонько целует своего начальника штаба, плюшевого медведя и жалуется ему на судьбу. Меня он любит, даже верит в мои особенные качества — силу, храбрость например, провести палец сквозь пламя свечи или лазать по деревьям вместе с ручным медвежонком — только никогда не признается мне в этом : таков наш обычай. Няня называет его дипломатом. Я считаю, что дипломат завидное будущее, и, чтобы он не возгордился, внушаю ему, что он совершенно иной, слабый, глупый, ничем не похожий на меня мальчик : « Алексей Курткин », выдумал я ему, по-моему — уничижительное имя.

— Главное, смотри насчет Закона Божьего, пробует советовать он; « как тебе не стыдно, только перед уроками читаешь на свежую память, а в последний раз даже отвечал по шпаргалке, знаешь, это грешно провалиться на таком экзамене; отец Николай говорит, что он такого ученика, как ты, ни за что не пропустил бы ».

Неприятное воспоминание о гимназии. Началось с переклички: в списках меня пропустили и я остался последним — классный наставник, инспектор и я. Как ваша фамилия? — а я забыл. Тогда один сказал другому: он идиот — и тут я ответил — да; — весь класс смеялся. В этот же день уже с подорванным самомнением — экзамен Закона Божьего. Я надеялся, что меня спросят про скинию, она представлялась пароходной каютой, почему-то с Ноевым Ковчегом сопоставлял я ее; в Священном Писании такие необыкновенные собственные имена, трудные, по слогам наизусть учишь; но это-то и интересно, когда удается — и не вышло; неожиданный арифметический вопрос — перечислите двунадесятые праздники. Одиннадцать легко назвал, а вместо двенадцатого попробовал схитрить, второй раз упомянув Преображение, будучи уличенным, и от смущения потеряв память, ответил первое апреля. Кое-кто фыркнул, однако батюшка рассердился, подумал, что я нарочно так ответил, на самом же деле полунарочно, даже четверть нарочно, и строго спросил: « кто твой духовный отец?, — скажи ему на исповеди, как ты ответил законоучителю »; и много месяцев спустя все еще было тоскливо и

страшно. Могут наложить эпитимию, так несколько раз, потом анафема с амвона, а няня теперь приходила только в гости, испуганно крестилась и соболезнующе вздыхала — это твой первый грех.

— А граммы сыграл? сознайся! — выпытывает Петр.

— Молчи, забыли, а ты куда лезешь, или щекотки не боишься?, просуну тебе палец между ребрами и пощекочу сердце; а-га, в зобу дыханье сперло.

— Подожди, не трогай, это ты смешно ответил учителю музыки — вы выучили упражнение? — не пробовал, вдруг не уча заиграл бы и вышло как надо, он же сам говорит, что у тебя «таланты», хихикает турок над моей удачей, и не подозревая, что на уроках музыки можно говорить все, что взбредет на ум, даже подбирать одним пальцем по слуху «Собачий Вальс», что досадливый учитель давно потерял всякую надежду на мое преуспевание и старается укоротить их разговорами о погоде, о своих других, но прилежных учениках, и продолжительными отлучками в уборную.

Но самый позорный случай произошел с Петром. Простое упоминание означало остановку игры, никакие угрозы, мольбы или

обещания преимуществ не могли моментально загладить моей вины.

В ванной, между его ног, у « кортика », после обычного призыва « няня, я кончил » — нашли клеща и благим матом вопил он, когда вытаскивали пиявку. Мне только стоило напомнить об этом пальцами, будто беру щепотку чего-то омерзительного и, брезгливо искажая лицо, протянуть руку к нему, как он начинал стонать. Итак, в моей власти был драгоценный способ прекращать назойливые расспросы, но применялся он чрезвычайно редко — боязнь последствий. Без игры трудно — еще заметят, что мы поссорились и раньше пошлют спать, удовольствия ночных приключений не имеют прелести днем, а потому предпочитаешь играть. Если удастся поссориться незаметно, из всех игр остается только одна — похороны генерала, одинокая игра, не совсем игра, улыбаться не полагается : нежная строгость. Гроб на лафете, венки, похоронный марш собственного сочинения, ордена на подушках — подносители даров, как в Библии — любимая лошадь полководца в траурной попоне, вереница карет, толпа, грустный шепот : встречное движение приостановлено, кучера снимают шапки, крестятся. Гвардия провожает его, отбивая сапо-

гами, солдаты выбегают из строя с носовым кровотечением, санитары (новое слово, упрощенные рядовые, без ружей, с краснокрестной повязкой) кладут примочки тут же на тротуаре. В Царском Селе так хоронили генерала Газенкампфа, желтого кирасира, после чего он сразу перешел к нам в солдатики, где командовал вечно побеждаемой, но, для продления удовольствия, никогда не побежденной турецкой армией; а то, что при жизни он старчески-хворо ходил, придавало его манерам настойчивую цепкость калеки, неминуемые преимущества, если однажды он доберется: несметными полчищами на тысячесаженном поле брани, поклялся Газенкампф стереть врагов с лица земли — « он стратег » — говорили мы и потому не принимали в крестоносцы. Каким обольстительным он был в гробу! — Нет, лучше переделать, это хоронят меня и я сам провожаю себя на кладбище. Чудесный покойник в гробу, холодно видеть, и задумчивый всадник эскорта, среди множества лошадиных шей и тут и там я, грустно и хорошо, это почти то же самое... а рядом бьют барабаны — ать, два, левой, взмахивают одновременно трубами, сменяющие пехотный оркестр, конные трубачи, лошадиное передвижение, пле-

щут копыта, медленно проходят траурные войска, а он в колеснице едет прямо на небо, победителей не судят даже на Страшном Суде, надежда спасения на веки веков.

***

Рассеянность находит на меня от прислушивания к разговорам взрослых. Сначала слушаешь и поражен, потом от недоумения постепенно притупляется внимание, так что даже забудешь о чем говорили, от какого нибудь поразившего слова попадаешь в мир этого слова и строишь там свое учение : дух — муж души, сделал я открытие на уроке Закона Божьего. Иногда мне кажется, что если раскусить смысл таких разговоров взрослых, рассудить несогласных легко; подтверждение этому я ищу в хрестоматии, где, наряду с наставлениями для среднего возраста и описаниями природы, есть и отрывки из настоящих книг : увы, они прерываются на самом интересном месте, только заманив прилежное рвение на несколько стрниц. Неосведомленность маленького посреди всемогущества взрослых : разве это не отчаяние опоздать годами к событиям ? И лишь только отдашь себе отчет в своем бессилии, делаешься еще более озабоченным вопросами чужой жизни; мне объясняют, что плохо

воспитанные люди обычно поступают неправильно.

Книги наши, мои и брата, помещаются в двух небольших шкапах « Boulle », только один полон донизу и это отсутствие симметрии режет глаз. Я прочел не все, не успеваю прочесть старые до появления новых, больше всех люблю Золотую Библиотеку — переплеты как мундиры. Тысяча и Одна Ночь, впрочем не полное издание, как указано под заглавием, и исторические сочинения — Чингиз Хан, Петр Великий, Наполеон, не побежденный Суворовым, — тоже ценятся нами. Мой первый спор со сверстником был « о гении военном ».

У нас два игрушечных театра : « Робинзон Крузо » и « Синяя Птица », такая туманная из-за говорящей сахарной головы. На этой основе я составляю новые представления; Петр и я попеременно двигаем актеров, или судим сцену « с точки зрения публики », удается нам лишь постановка без разрешения конфликта.

— Здравствуйте, как вы поживаете? — « о, я, спасибо, прекрасно, ни чуточки не устал, даже доктор сказал, что я опять потолстел », — говорит актер Петра, вежливо шаркая, а потом спокойно расскажет о по-

стигшем его несчастьи или чьей нибудь смерти.

—Ура ! вот и я ! дорогу ! кричат мои представители, озорничают и рушат декорации, чтобы завладеть вниманием; после этого им больше нечего делать и становится скучно : — ты ничего не умеешь делать по правилам, — упрекает Петр.

Чтобы доказать ему мое всемогущество, я перехожу на действительность. Как понесла наша тройка, хотела перепрыгнуть железную изгородь, но застряла на остриях, как выездной Вялов волчком закрутился в воздухе, кувырком упал с облучка, кубарем покатился — спасла его шуба, как вывернуло ему шиворот на выворот шапку и так глубоко, что трудно потом отыскать, затонули в снегу галоши. « Графинюшки отделались легкими ушибами » — повторяли мы выражения местной газеты, но изображали только Вялова, иногда одновременно двух, кувыркаясь по положенным на полу подушкам, стараясь, чтобы выглядело посмешнее : удивительно свойство игры быть прерываемой на самом интересном месте.

— « Кушать подано », раздается голос и сразу превращается в выговор : « руки идите мыть, целый день по полу ползаете, занозы

собираете»; в дверях стоит дворецкий, неодобрительно покачивает головой, рассматривая беспорядок, и через игральную направляется в комнату сестры. Надо быстро прибрать разбросанные вещи и поспеть к умывальнику, покуда он не вернулся. Об его силе и крутом характере ходят баснословные рассказы; служащие повторили мне их, даже старшие братья и сестры относятся к нему как к строгому, но полезному человеку, а его сыновья, с которыми мы играем в футбол, заслыша отцовский голос, внезапно держатся совсем иначе. Тучная выправленная осанка, седеющие волосы ежиком, хотя лицо молодое и бритое, прямой нос и лоб, да и фамилия его красивая — Гетман. На площадке лестницы, во втором этаже, по дороге в столовую, мы задерживаемся у окна; прильнув лицом к стеклу, чтобы до полградуса рассмотреть какая температура, я стараюсь предугадать куда нас поведуть гулять, и если в этот момент случайно проедет бочка с отбросами — кляча и лохматый юродивый возница — ем с отвращением.

Я привередник, выбираю еду, очень люблю сладкое и хлеб, крошу его на скатерти; — у тебя будет много долгов, пророчески говорят мне. От замечаний я краснею, стыд на-

дувает меня и много накопилось таких случаев, о которых без чувства виноватости невозможно вспомнить. За столом Гетман мне друг: он украдкой показывает мне сладкое, чтобы помочь дожевать невкусное, обносит нелюбимым молоком, знаками советует перестать спорить. В благодарность я смешу его выходками по адресу немки, воспитательницы сестры.

— Прошу ответить, можно ли носить два монокля?, — но это не ново и смеха не вызывает, как было тогда в поезде, когда я увидал толстого адмирала в николаевской шинели с моноклем.

— Как вы не знаете, ведь вы взрослая, сколько вам лет, сто или больше?

— Ungezogener Bengel — отвечает она.

— Держу пари, что сто.

— Ты думаешь, что ты остроумный, моментально проси прощения, — говорит сестра.

— Почему? — этого она сама точно не знает, заступает сентиментально по привычке.

— По одной простой причине, сейчас же проси прощения.

— Вот это здорово! Страстная неделя еще не наступила.

Гетман улыбается и отворачивается, я уверен, что угодил ему; когда приносят сладкое, мне, как кончившему есть, предлагают встать и пойти к себе, подумать о том, что я только что сделал.

— Хорошо, я буду помнить, бормочу я: прощения я не прошу.

В одиночестве я предаюсь гневу, а не размышлениям о своем проступке, хожу по спальне, топая ногами и лягая мебель — мне начинает мерещиться хитросплетенный заговор против меня, нелюбимого брата, может быть, даже подкидыша. Тайна окружает меня: ужасная судьба бывает у таких детей и вспоминается гуттаперчевый мальчик в цирке и другой, похищенный шайкой воров: На обвешанном колокольчиками чучеле учили его красть из кармана, предательский звон указывал каждое неловкое движение, наказание за хорошее неумение, холодная темная комната, сухой хлеб и вода: убежать к золотоискателям в Аляску или Китай по компасу на восток — решаю я. Петр взволнованный прибегает сразу как встали со стола, старается утешить меня и тогда я изредка плачу, но отнюдь не из-за сладкого, как думает он, а от стыда, что так часто обижаю его.

— Какой ты неугомонный — повторяет он слова няни, « зачем ты говоришь такие глупости ? Ведь ты прекрасно знаешь, что тебя накажут » — я, действительно, наперед знаю развязку, но не могу удержаться, когда предвижу хотя бы короткий успех.

— До свадьбы заживет, отвечаю я бойко, чтобы сгладить впечатление слабости, которое могли оставить мои слезы.

Истинная нежность пробуждается во мне, когда он заболевает. Долго тянутся тогда дни: « какая у него температура, он скоро поправится, подействовало ли лекарство ? » — виновато расспрашиваю я. Доктор в генеральской шинели (« генерал от дизентерии », называет его Гетман), заходит тогда и ко мне, смотрит горло, выстукивает, выслушивает. Через него посылаются поклоны, но этого мне не хватает, мне нужно видеть и трогать его... Я усердно молюсь за него, обещаю больше не ссориться с ним, а в день выздоровления подарить ему мою коллекцию марок без права отнять обратно (один из наших законов) — запомню ли я это ?

* *
*

Снег идет и ложится карнизами; первый

снег улыбается на моем подоконнике, посмотрите на хлопья, это звезды планируют взапуски мимо заиндевелых стекол; пухловатое одеяло обнимает подножие стволов, нахлобучились заборы и сучья — он везде.

Не смей на меня глядеть, остановись в оцепенении... а теперь открой глаза : чудо !

Я мерзлые поры ! Клочки неба ! Ангельский пух ! Северное сияние излучает моя крупа ! Как копья колют ручьи моих отражений ! — орет зимохвал.

Снег набегает проворно, скачут и кувыркаются снежинки — трепет, блеск, легион превращений в мгновение — и застыли за ночь, утром розовые, вечером голубые, сугробы, навеки плотные форты с коридорами и амбразурами для игр : снежные идолы стерегут наши сооружения.

Душистый холод... снегом умеет дышать солнце и дышит луна, быль о непроходящем, « былина снегонега », чистые страницы долгожданного подарка, крепкий союз, забытье... а наш дом превращается в неприступную крепость, бесконечные сажени дров сложены во дворе и все время подвозят припасы.

Щекочут звуки зимы, радостный смешливый снег, и давит не он, а черные сучья, сохранив свою силу от снеголома : буланые

листья отнесены метелью на расправу в безразличие полей, дрожат как огни на белых курганах — последние жертвы.

Парятся лошади, ноздри, рты, лица горят, дети едят снег, снегурочные девочки, в шубках колоколами, носят его на муфтах, снегири в алых мундирах разбухают и следят крестиками на пороше, жалуются воробьи, зимородки стерегут у прорубей рыбу, а он скрипит полозьями, защищает своим телом зябкую землю : громкие зимние деловые голоса из саней.

Не вырвешься — от Сибири до Питера ходит мороз, стучит молотками, рвет железо, птицу бьет на лету, сам стоит — другим не велит, морозит кучеров, проехать не дает, манит в махровую чащу, цепкий, хитрый мороз Ивана Сусанина. Он смастерил нам одежду, шапку с наушниками, башлык, запашной полушубок, косолапые валенки на оленьей подошве рукавицы — оттепель на малиновых ладонях и пахнут они зверьками : на медведя похож пожарный на каланче.

Снег — гроза без грома, ливень — без потопа; полярная радуга запаена в каждой снежинке, какое изобилие укрощенного ненастья ! Что нового ? — снег. Что старого ? — снег, да здравствует снег ! За двойными

рамами на градуснике, как на флейте, низкие ноты берет мороз.

Мы ходим на лыжах по ослепительному царскосельскому озеру, весною тут лебеди, нарядные лодки, суматоха посадок, а сейчас снежное поле, напрямик к эспланаде, пересекая его, там между двумя дискоболами, излюбленный длинный спуск. Ровные следы лыж, будто рельсы на узловой станции, перекрещиваются и попарно сохраняя все тот же пролет, притягивая однообразием, текут вдаль; проруби, отмеченные по углам еловыми ветками, остаются в стороне. Вереницы коренастых дровней окунаются в воду, вывозят кубические льдины; лошади, как в гололедицу, скользят по мокрому краю, присыпанному рыжим песком, по бокам за оглобли зацепляя баграми, ухая помогают люди. В рощах вынырнувших островов, пегих от сочетания стволов и снега, на одной ноте кричат кочующие фазаны Царской Охоты, по верховым дорожкам проезжают всадники, по главным — саженками плавают орловские рысаки в санях, далеко на катке куют коньками и шарахаются изворотливые человечки, столь различные от обычных закругленных зимних фигур.

Аллейный парк огромен, как воспомина-

ния за ним второй, третий. Забываешь дорожки, поляны, просеки, не узнаешь фонтанов и статуй, заколоченных на зиму в ящики, а в дикообразном барокко павильонов кариатиды разряжены снегом, кажется еще больше искажены от усилия, на плечах поднимая строение между окнами из восьми лопастей.

Дворец целый город под одной сизой крышей, одноэтажные службы охватывают парадный двор — целую площадь; золотые орлы и вензеля на решетках, а под пиками на снегу чугунная ржавчина. Я люблю его очертания, желтоватые стены разделенные вдоль желобками, вырезы сложных орнаментов, пасти дельфинов, гирлянды и венки из черных ветвей, величие замысла, где прежде жили цари : — Аполлон Бельведерский, Аполлон Бельведерский, шепотом, чтобы не смеялись, называю я это видение.

Внутри он такой же гигант. В суконных туфлях я скольжу по паркету за проводником-инвалидом; каждая комната величиной с павильон, зеркала преображают размеры. Будто здесь заключена вся вселенная, вся ее флора и фауна, все боги, богини, герои, гении и атлеты античных времен. Расписной мифологический мир и его небесная перспектива; мраморные колоннады посреди перла-

мутровых облаков, тенеобразные жены в сандалиях — четыре времени года, крылатые амуры трубят, пускают стрелы или отдергивають занавес перед оголенными телами, три грации и воин Парис, синеокая гроза на золотой колеснице — молнии как копья, мрачные лабиринты в адской бездне, еле освещенные факелами, опять светлые обитатели Парнаса, коронованные оливковыми венками, у арфы, лиры, урн, весов, рога изобилия и других атрибутов.

Это было в учебнике русской истории « Крещение киевлян и разрушение идолов », посмотришь и открывается картинная галерея, фантасмагория великих деяний, склады моего обучения. Дружины первых Рюриковичей времен « Пути из варягов в греки » и « Господина Великого Новгорода », богатыри-победители кочевников в курганных степях за порогами Днепра, щит на вратах Цареграда и греческий подводный огонь, Ледовое Побоище, на непроходимых болотах, реках, озерах, где белой ночью, когда токуют глухари, почти под северным сиянием, родился и я.

Промысел Божий, предзнаменование; неровен час, и полумесяц над Русью. Золотая Орда собирала дань и уводила невольниц, за

монастырскими стенами поминают их души черные монахи. Колокольный Кремль кресты на луковицах церквей и тяжелая Царь-Пушка посреди громадных слобод, в низких теремах червонные цари, жемчужно-бисерные, кружевные царевны, резное дерево и ковры, сдобный, кустарный, непроветренный, обрядный Третий Рим со священным наследием Византии; орлы кесаря и потемневшие иконы, эмаль, мозаика, ковши; бородатая боярская дума, дьяки с гусиным пером за ухом, меховые шапки, длиннополые, длиннорукавчатые кафтаны, сафьяновые сапоги. Чудо завоевания Сибири, как ледокол, двигался Ермак по дикой тайге среди хищной твари и раскосых противников, один на тысячу. Золотородная, меховая Сибирь, где допотопные мамонты и железная рука Иоанна Грозного. Но все так счастливо не дается : есть и оскорбительные картины : Смутное Время — время убийств и казней, поляки, стрельцы, казаки, соперничество предателей, почти католическая Москва, но опять русское чудо : у первых Романовых лики патриархов.

Внезапно врывается иная стихия; дикое прекрасное лицо Петра Великого, опьяненное морем, царь-плотник начинает затею в Саардаме, царский кормчий в дружбе с

Нептуном — мореходные, сухопутные битвы со шведами и блистательной Портой — а началось-то с потешного войска! Основание Санкт-Петербурга, верфей Петропавловской крепости, гибельное наводнение, впереди везде громадный Петр, кудри на ветру; он идет большими шагами, кафтан нараспашку, в белых чулках и заморских штиблетах, а за ним, почти бегом, тщедушные фигуры помощников-иностранцев. Куда только не стремился он?

— Янтарная комната, подарок Фридриха Великого, — возвещает проводник.

— Мой романтизм начинается тут; прославленные латинскими эпитетами императрицы, — багряные, горностаевые порфиры, бриллианты звезд и орденские ленты на груди, в руках скипетр или пергаментный сверток, — улыбаются и тщеславно и мягко, в тронном зале толпа париков, придворные, ученые, полководцы, вельможи, карлики — разнообразный гардероб этикета: учение свет, а неучение тьма. Парк: неподвижные статуи — часовые, грот; только один факел освещает силует Дон-Жуана, маски на женских лицах, веер или хрупкая трость для защиты. На солнечных лужайках пасторальные игры под китайськими зонтиками, вдали

ферма, ветряная мельница, нежно пасутся овечки, павлины парадируют, в урнах букеты цветов, овеянные роем бабочек и пчел, и голубь — вестник мира — парит над ними. Одна за другой чередуются яркие гостинные любовно расшитые шелком по шелку тканые кресла — « французские Людовики »; на полированных или мраморных поверхностях деревянно - бронзовых столов и комодов с инкрустациями, в витринах, фарфор, табакерки, миниатюры, изделия из слоновой кости, малахита и уральских камней, как игрушка стоят клавесины, маленькие сани Елизаветы, удобные как диван, на котором пишут мемуары; Лейб-кампания в мантиях и приветствует криками, ритуально поднимает шпаги к небу, а она проезжает, как царица зимы, прекрасная под соболиной полостью.

Оружием выкованная Империя : оно повсюду вдоль стен, блестящее или потускневшее, красивое и грубое, клинки вроде металлических рыб, потухшие ядра, алебарды, секиры, пищали, рыцарские доспехи и азиатские седла и стрелы, как остатки мечты о походе на Индию. Два столетия войн с переменным счастьем, геометрическая точность сражений XVIII и XIX века — парад

редутам и атакующим параллельными шеренгами войск, свои и чужие одинаковы в киверах и касках у дул медных пушек, вокруг клочков знамен, в адском освещении взрывов, вся Европа на нас, апокалиптический Наполеон, бледный за стеклом возка, и он бежал из снежных равнин России. Сыновья императора Павла на фоне порохового дыма, мертвых и раненых гренадерских тел, под Триумфальной аркой Парижа, окруженные моложавыми генералами, в пернатых треуголках на горячих конях — победная радуга коронует события. Но наступает конец историческому роману; тускла Севастопольская оборона, длинные шинели и бородатые головы почти обычных людей, меня тянет на литературно-прекрасный Кавказ или в Среднюю Азию в солончаковые степи туркменов «доказать на деле»; под балдахином вершит правосудие Эмир Бухарский, его кривая шашка, украшенная бирюзой тут же под стеклом.

Огромные державные залы, галереи для оркестра, громокипящие кубки сводов, колоннообразные, театральные многосаженные стены. Зеркальные, лаковые, позолоченные двери-пасти каминов пусты, через высокие арковые окна бьет свет и играет на люстрах-

льдинах и везде орнаменты зодчества, корни, стволы и их молодые побеги, аллегорические барельефы, фрески и расписные потолки. Чудовищное богатство возможностей; кресты из букв, острые лучи солнца, золотые паутины и звезды, струи лент, гирлянды ветвей, букеты стрел, пламенные цветы, перья раковины, фрукты почти гастрономической сладости, крылатый сфинкс, львиные головы, руно, драконы, единороги, грифы, глобус в человеческий рост на курьих ножках, магические песочные часы, жертвенник, вулкан, — что мы еще найдем за поворотом стены в библиотеке или в музыкальном салоне? — у каждой комнаты свое название, свое точное имя и прошлое.

Усталый от виденного уже еле рассматриваешь, лишь ощущаешь стихийное окружение : славу, мудрость, мощь России и веру в вечность ее бытия.

От дворца начинается лента бассейнов и, понижаясь уровнем, ведет к нашей улице. Заледенелые бороды каменных водопадов застыли навесом, — можно стоять под ними на плитах под прошедшим порывом воды, собирать голубые сосульки-моркови, тающие в руках, и потом догонять не взволнованных взрослых; что им надо? всегда говорят:

торопись, а показать ничего не умеют, непонятна их жизнь perpetuum mobile — без ежеминутной боязни что-то прозевать. Что же, они лучше понимают чем я? ничего, таково мое впечатление, только всегда умеют расслышать, когда я шепчусь с Петром. Вот деревья простирают ко мне снежные сучья, одинаково-разные стволы, рожи-дупла, страшно просунуть руку, защемит, отморозит, что там дальше, прошлогоднее гнездо, клад, ледяной дом с юркими карликами, начало подземного хода в недра земли к антиподам? или просто темный подвал, где сыро и щекочет лицо паутина. Грандиозно величие морозного мира, спокойное торжество, небо заряжено белой метелью, багряное солнце предвещает постоянство, завтра опять ранние сумерки — зима впереди, стучит сердце.

Из теплого поезда смотришь на снежное море, бодрящими огнями виднеются занесенные села, теплится жизнь, неужели доедем, на свистке вулканического, кипяткового паровоза сквозь убаюкивающий, нездешний предел. Шумный город-столица умеет встречать, здесь зима не одна хороводит; громадный грот вокзала, снежная каша по каменному полу, незнакомые бойкие люди не

кланяются (не то, что у нас!) взвинченные холодом быстро проходят, напирают со всех сторон, шубы протягивают билеты; осторожней, еще потеряешься — дети, держитесь вместе! И уже потемнело: нет отбоя от извозчиков, не слезая в желтый разъезженный снег подзывают они седоков, согреваются, ударяя себя рукавицами крест на крест по плечам, мимо текут поезда ломовых и карет, автомобильные фонари, как планеты на небе, цепи на колесах, электрический свет слепит, трамваи, конки, звонки, гудки разгоняют столпотворение, но мы сели, и нежная санная рысь началась: мимо скользят дома без садов, сосчитай этажи, зияющие ворота, блестящие витрины магазинов, бесконечные ледяные мосты и каналы, памятники и сквозняк на площадях, перед будками золотые гренадеры в медвежьих шапках — когда, наконец, мы доедем домой? — но вот остановка, сбивая снег с валенок, мы входим в новый дом.

Пол-жизни в снегу; сорок дней до зимы выпадает первый... Даже летом в тени оврагов я его находил и месил руками, и какие только расчеты, надежды не бывали оправданы им! Я по снегу могу ощутить любое детское чувство, окунуться в него целиком,

пережить еще раз былые затеи, исправить пробелы судьбы и чудно подумать о прошлом.

***

Наконец, перелом; дыхание земли начинает растапливать снег, земля разгорается жаждой, пьет, упивается снегом, но пока еще робкая, медленно сбрасывает покровы, парится в снежной бане. Только наружно в тени сугробы плотны и выносливы, внутри они иссякают, пускают подснежные реки, еле слышно журчат водосточные трубы, вечером замороженные немеют и снова утром журчат.

Но ее еще нет. Она намечается липкими пятнами на лыжных полях, желтизной на открытых дорогах, шепотом водопадных прудов, жиреют от влаги сучья, какие очертания смастерили себе за зиму деревья? — отчего так светло после чая? — что снисходит на землю, что мы ждем? — где, когда появление, кто первый заметит его? — исподволь растет возбуждение.

Она начинается от Благовещения с постоянно отворенных форточек, с полотняной дорожки на ковре лестницы; во всю стараются полотеры, снимают замазку двойных рам, и уличный гам врывается в комнаты, не совсем у себя становится дома; из отворенных окон перекликаются с улицей люди, перед

подъездами, работая по-два широкими лопатами скребут снежуру дворники и сбивают сосульки под крышей : постепенно и мы снимаем зимнюю одежду. Каждый час, каждый взгляд умножает перемены, мертвый дерн показал прошлогоднюю щетину, языки зеленой травы пробиваются между, набухают почки, грачи раскричались, на дворе плещут колеса, первый велосипед, веселее пищат воробьи на лошадином помете, снова ходят разносчики и орут нараспев благим матом : пахучих лотков фрукт еще нет. Наводнение : канавы бурлят водоворотами, лужи, разливное море луж, плещет рыба в прудах, выплыли лебеди, дождь, град, снег, дождь в перемешку надушили воздух, сквозные тучи на небе, зов солнца, в парке мокрые мраморные плиты солнечных часов и могил екатерининских болонок, люди пьют из фонтанов, как птенцы открывают глотки анемоны — « ходить по траве и рвать цветы строго воспрещается » — белые билетики на стеклах сдающихся дач, первое предостережение отъезда — это весна.

А как у меня на душе ? Средне. За выдержанные экзамены обещан велосипед, завтра начну заниматься. А до сих пор ? сонливость по утрам, интерес к разговорам старших,

нежность к двоюродным сестрам (ими я люблю и командовать и им же подчиняться), боязнь выговоров матери и множество то исчезающих, то снова насущных забот.

— Не вмешивайся в разговор старших, отвечай когда тебя спрашивают, перебивают они мои изложения и продолжают обидно называть всех троих собирательно — маленькие. Безусловно приходится остерегаться их наставлений, они право не знают, как отвечать на мои вопросы и воображают, что ловко выкручиваются — так просто, если все сметь. Давайте поспорим : все, что вы говорите так и есть, а все, что я говорю всерьез не принимается, когда же, вопреки их стараниям, мне удается построить свое доказательство, обезоруживают вопросом : — ну, так что же ? или глубокомысленным « нет правил без исключений »; правило — это я, исключение — они; право и ключ событий : ерунда на постном масле.

Как же мы зимовали, что случилось важнейшего ? В гостях и дома горела елка, пахло смолой и мандаринами, в Крещенье гадали, потом считали блины, катались на вейках, ели жаворонки с изюменными глазами, секли вербой, на Пасху искали яйца в Зимнем дворце и дразнили арапа императрицы, были

в цирке, на детских балах, страшная преграда, экзамены еще впереди. Страстную неделю провели в Петербурге в особняке деда. Уже в полутемной швейцарской, где дожидаются чужие выездные, а по бокам парадной лестницы стоят два медвежьих чучела, становится ясно, что это сложный особенный дом; за недельное пребывание я не проник во все комнаты, мне особенно нравятся две громадные гранитные арки в большой гостиной, будто нарочно чтобы прятаться, помещены они там, и памятник Петру Великому на коне между окнами на набережную. Внизу широченная Нева еще без буксиров, мосты в туманные дни еле видны, пушечная пальба предупреждает ледоход, как взрывы трещит лед. Однажды горела отнесенная откуда-то баржа, несмотря на лай цепной собаки на палубе, затащило в море. Наши двоюродные тоже живут тут, годам и силе придается большое значение, месяца разделяют, а соревнование объединяет нас. Лучше всего мы запоминаем смешное, выходки каждого из нас, будто лишь для забавы живем, мы, маленькое, избалованное племя, — как гонцы и наперсники ложно-классических трагикомедий, только за собой не признающие пороков. Но самое главное сек-

реты (каждый имеет своего секретаря), есть очень важные тайны, недоверимые всем — кто в кого влюблен, кто умнее несмотря на успехи в ученьи (умом мы считаем сдержанность или, наоборот, поражающее мнение), и это первые уколы самолюбия, о которых потом долго раздумываешь, когда не тебе первому открылся твой секретарь. За столом нас бывает до тридцати человек и все происходит так строго, что говорить самовольно никто не смеет, мы обмениваемся только нам одним понятными знаками, а Петр даже и не думает отвечать на вопросы взрослых и тогда я его выручаю.

Великий пост сурово стыдил, с замиранием сердца, есть такие ужасные, я вспоминал грехи, сверлил свою память, просил у всех прощения : « Бог простит ! » знающе отвечают мне. Исаакиевский собор на холодной площади; на паперти ряды нищих, закутанных до ушей, с посохами и котомками, дети одеты как взрослые, кладут поклоны входящим, крестятся, просят, я стараюсь не касаться их рук, опуская монету. В громадной, полуосвещенной пещере собора теплый запах толпы и кадил, сияют царские врата, ризы икон, маленькие свечи, маленькие священники исповедуют за ширмами, ни есть ни

пить до первой звезды, беспокойное чувство в желудке.

« Послушание — радость родителей, правду говоришь? — ссоришься ли с братьями и сестрами? — за слово « дурак » геенна огненная, — учился ли прилежно? есть ли у тебя особые грехи? » И придется сознаться в ответе законоучителю « первое апреля »: в этот день обманывать можно, но этим днем обманывать нельзя — разные падежи.

Яко ты еси
Сын Бога
Живаго
пришедый в мир
грешныя спасти
от них же первый
есмь аз,

а потом торжество причастия, вкусная гранатовая теплота, разливающиеся песнопения заутрени: Христос Воскресе! — « Паки и паки », громоподобно, будто к воинству небесному, взывает дьякон Слонов. Помолюсь об экзаменах, надо просить для всех, для себя одного грешно, не могу поверить, а что если это правда и пообещать взамен даже что-нибудь трудно выполнимое нельзя: « блудлив

как кошка, а труслив как заяц», говорят про меня и советуют отдать в закрытое учебное заведение.

**
*

Мы остановились у Павловского дворца после часового катания по парку, не доезжая «Соленого мужика»; конные казачьи патрули сопровождали нас на расстоянии, передавали один другому и поэтому узнавали нас редкие проезжие сани и придворные кареты, уступая дорогу или пропуская вперед. Солнце еще грело крепко и усиленное морозом как бы натирало щеки, но уже заметно клонилось к снегам, точно очерченное и потому будто близкое, как весомая красная гиря, не в силах удержаться на небе, без конца продлить такой увлекательный день — а, может быть, это было совсем не так.

Всю дорогу Наследник сидел в розвальнях спиной к кучеру и смотрел на наши игры и озорство, несколько раз порываясь участвовать; англичанин, воспитатель Георгия, останавливал его.

На веренице салазок, мал мала меньше, прикрепленных к парным розвальням и со-

единенных между собой двумя ремнями (у каждой руки свой, чтобы управлять), лежа на животе, каждый сам по себе следовали мы и не легко было на широких поворотах, которые кучер брал с умыслом круто, сохранить равновесие, когда от разгона во всю прыть заносит в сторону. Сбитые с толку, выкрутасами салазок, мы то и дело слетали кубарем в придорожные сугробы, веселые, разгоряченные неудачей и надеждой отличиться в следующий раз. С трудом, торопясь, мешали полушубок и валенки, выбирались мы обратно на дорогу, по колено в снегу, вытряхивали отовсюду начинавшие таять от теплоты тела комки, громко из-за наушников спорили кто куда сядет теперь, поднимали возню у салазок беспощадно атакуя друг друга снежками, чтобы добиться своего, не уступить, а потом продолжалась езда по пустынным, будничным дорогам парка мимо заколоченных на зиму статуй и лыжников-дикарей в полях, до нового падения, остановки, криков и снежных поединков.

И вот теперь предстояло переменить это, полное непредвиденного, захватывающее хотя безымянное времяпрепровождение на обычные игры при электрическом свете, под наблюдением педагогов в четырех стенах.

Георгий подошел к своему воспитателю и стал по-английски убеждать, что до чая времени много, делать покамест нечего и погода такая хорошая, что Наследнику так хочется сделать еще один небольшой круг, всего четверть часа, ни минуты опоздания, по смежным дворцу дорожкам: мы все с замиранием сердца следили за ходом переговоров. Наконец, давая в полголоса последние наставления Георгию, он согласился, вылез из розвальней, кто-то подошел от подъезда и заговорил с ним, отвлек его внимание; мы двинулись — шагом, мелкой рысью, быстрее — сейчас начнется ! Я лежал прильнув к салазкам, живой таран, руки на ремнях и нагибаясь то вправо, то влево смотрел вперед, чтобы не быть взятым врасплох, заранее увидать предательский поворот и начать тормозить весом тела, и совсем близко подо мной скользил санный путь и скрипели на разные лады беспрерывно и звонко, как пила и ее эхо, полозья и укатанный неделями зимней езды наст.

— Стой ! — крикнул внезапно, позади меня испуганно Георгий... Я обернулся.

Наследник лежал на спине, шагах в двадцати, вытянувшись во весь рост, почти на дороге и не шевелился; ясно, как в зеркале

себя, увидал я его фигуру, озаренную солнцем и снегом.

— Ваше Высочество!... Возжи примите же! Живей, Ваше Высочество! Да, что же это такое? развязно и недовольно, тараторил одно и то же кучер и, грузно соскочив с розвальней, подбежал к Наследнику; но тот уже принял самостоятельно сидячее положение, вытирал лицо и смеялся своей проделке, когда подоспевший кучер стал поднимать его на ноги.

Наследник, вероятно, нарочно упал, так как лошади шли не быстро, — мы отъехали недалеко и поворотов не было, — он столько раз видел как это просто и безнаказанно проходит и захотел попробовать свои силы, незаметно для всех примостившись на последние самые трудные салазки.

— Я ничуть не ушибся, — уверял он обступивших.

Необычную суматоху заметили у дворца. Два всадника полным галопом шли на нас по обеим сторонам дороги, между оранжевыми берегами ее, под лучами солнца, и от снежной пыли, которая окружала и соединяла их, казались одним летучим порывом ветра. Когда они доскакали и осадили коней, эту пыль заменил пар, отдельно от каждого

казака клубившийся как попало, распространяя пряный конский запах. Не зная как теперь быть, они одновременно взяли под козырек и застыли на месте — два решительных, не проницаемых лица.

Георгий был перепуган, ошеломлен, — все произошло так быстро! Надо было сейчас-же принять решение, исправить допущенную ошибку. — Едем домой! Едем домой! — твердил он заикаясь, а тут, совсем не кстати, усугубляя его виновность, появились два свидетеля, запечатлевших уже прошедшее, исключавшие тайну, неспособные исчезнуть согласно его желанию, неповоротливые как сама судьба.

Словно взрослый, бывалый человек, Наследник махнул рукой казакам: « все в порядке » означало это движение и, больше не обращая на них внимания, стал возражать, что ехать домой не пора. Будто подбодренный удачным опытом, первым шагом на пути к мастерству, он обязательно хотел продолжать соревнование, торопил всех нас сесть, даже сел сам на салазки и, умоляюще смотрел на Георгия, ожидая от него помощи и повторяя: « ну, пожалуйста, еще ». Но тот был неумолим: сам не свой, может быть, даже не слыша что ему говорит Наследник,

он стал привычно поворачивать под уздцы лошадей, понукая.

Я знал как он боится своего отца: уже неоднократно, когда мы играли во дворце, ему одному влетало за наши общие шалости и непослушание (тогда это забывалось сразу), а вот только что, несомненно, я понимал это чувством, мне подсказывал это его иначе необъяснимый, сокрушенный вид, случилось нечто иное, чрезвычайно значительное, непоправимое. И как только вместе с морозным воздухом мы прошли мимо караула в подъезд и стали снимать полушубки, деловито без шуток и толков, понурые и внезапно уставшие, как бывает когда попадаешь зимой обратно в дом, воспитатель сухо передал Георгию, что отец требует его сейчас же к себе; а через четверть часа всех кроме Наследника, позвали к Великому Князю.

Он стоял громадный, сгорбленный над побледневшим сыном, посередине комнаты, где я прежде видал его только за письменным столом, когда мы приходили здороваться перед уроками гимнастики, и не взглянул на вошедших. Было ясно, что он только что в сердцах шагал тут и орал на Георгия, а теперь раздумывает какие точно слова произнести.

— То что случилось сегодня, как Наследник Цесаревич упал во время катания, не должно быть повторено никем из вас никому, — понимаете? — а если вы не послушаетесь меня, я все равно это узнаю, с ударением на каждом слове раздался строгий голос — « а теперь ступайте и держите язык за зубами ».

Много месяцев спустя, я узнал от матери как опасно, хронически болен Наследник и понял, что падение с салазок могло вызвать возврат болезни. Было грустно и жутко, мы любили его; он был ласковый, всегда обнимал и целовал на прощание, спрашивал скоро ли увидимся, и сердился когда мы ему говорили Ваше Высочество: « Меня зовут Алексей ».

***

Пасха последний перерыв учебного года. Безымянной чередой побегут теперь дни к экзаменам, уже не месяцами, а неделями измеряешь время до отъезда в имение, туда направлено внимание мое, я помечаю оставшийся срок крестиками на обоях спальной. Наконец, наступил долгожданный день и мы отправляемся в путь. Метаморфозы железнодорожного путешествия. Хорошо смотреть из вагона; низкорослые пригороды промелькнули сразу, потянулся северный ландшафт

Ингерманландии, кое-где соглашаешься жить, как знакомые улыбаются гнезда земли и стрелочницы, но мы мчимся мимо, — скорей бы, скорей приехать! — разнообразно убиваешь время; покачиваясь как матрос ходишь по проходу, мысленно меришь пройденное пространство и то, что еще осталось (только с половины пути начинается заметное приближение цели) — и вдруг желанная вывеска гигантскими буквами появляется на платформе, куда слезаешь укаченный с дурманом в голове.

Нас встречает управляющий — «выросли-то как за зиму!» неизменно удивляется он и, передавая новости из имения, где больше слышится «прибавление в семействе» или «приказал долго жить», ведет к почтовому четверику.

Одиннадцать верст до дому ведет петлями каменистое шоссе и чем дальше мы едем, тем чаще обычное придорожное превращается в знакомое: слоновая ступня дерева, гулкий мост, проселочная дорога наперерез, столб на границе нашей земли; я чуть не забыл их с прошлого года.

— Инженеры-то, подрядчики, — креста на них нет! — сколько денег на этом шоссе заработали... что ни тридцать сажен то пово-

рот, от станции не больше восьми верст будет, хотя бы из-за деревень так накрутили, да ведь мызы-то поблизости нету !... Эх, казна, казна, и смех и грех », слушаю я одним ухом. Стук колес, подхлестывание, бубенцы, медленная вереница телег спящих чухон, умные лошади сами уступают дорогу, злобные собаки выскакивают из-под колес, встречные узнают, снимают фуражки, мы едем по холмам в духоте, в щекотящей глаза пыли, трава и канавы напудрены ею добела, иногда близко подступают торфяные болота, каменистые поля жаворонков, хвойная рать стволов — таинственная тень под ветками елок, а рядом простой березняк — царство ворон. Вдоль заборов и палисадников деревенских кустарных дач, с петушковой резьбой под крышей и в ставнях, следуем мы, дремота одолевает на миг, встряска, потом опять канавы, рябина, березы и сирень, сирень.

Первая большая деревня — мы; избы из бревен стоят разбросанно у колодцев, деревья обитые колесами телег, между складами хвороста и навоза, на площади, перед мостом через Охту, два трактира, навес кузницы, баня и чистые лавки. Тут однажды вспыхнул пожар, сгорела до тла бакалейная лавка, искры летали по зареву, будто маленькие крас-

ные машины переворачивались в воздухе, огонь рвался к небу, цепь мужиков передавала ведра из речки, бабы выли о погорельцах, нашу крышу и мызу поливали, выслали в бор дозорных, бочки галопом неслись, бил набат, орудовали пожарные, дым валил под напором воды. Мы ходили смотреть, но близко подойти не хотелось : непривлекательный разбой. А на утро новость — « Смирнов застраховал » — и паникой веяло от этого слова, хотя возвещавший многозначительно улыбался. Потом опять ходили смотреть убытки, доброволец пожарной команды краснобайствовал, — будто он учредитель пожара, — как он провалился сквозь крышу и поранил ногу о борону, как ругал перепуганных мужиков. Я видал мертвую, пахнувшую жарким, козу, раздувшуюся, без шерсти с кровяными внутренностями наружу, кое-где еще теплились угли, пьяный спал ничком в крапивной канаве, из обставленного телегами постоялого двора « Венеция » доносилась гармошка и выходили парни к хохочущим девкам.

Последний крутой подъем перед домом мы берем шагом. Начинается парк и заметно плодородное превращение растительности, ярко-зеленый цвет, зеленый ток пробегает от

малейшего дуновения по густой листве, соплеменные высокие стволы отделены от дороги живой изгородью из стриженой акации, сквозь которую не заглянуть : « посторонним вход запрещается », написано на загородках для дачников. И наступит прекрасное деревенское утро в удивительной тишине, только голуби воркуют на крыше, лошадиное ржание да редкий лай Барбоса; постепенно просыпаясь в наново старой комнате я пойму, что чудо совершилось, что прожит еще один закономерный год, что всего лишь одна переэкзаменовка через четыре месяца, а пока ни одного урока.



Сенька был первый человек, не старавшийся уберечь меня в подозрительном кругу не исчерпанных объяснениями обязанностей. Он никогда не спрашивал моего мнения, а самостоятельно, вызывая мое притворное удивление, дабы продлить его красноречие, повествовал о том запрещенном, что есть на самом деле в городе и деревне среди не украшенных правотой людей : холодное торжество умного сопровождало выкладку этих знаний. Но посвящения были редкими и случайными, — мы не доверяли друг другу, не

совсем друзья, — и происходило не дома, даже не по близости его, а где нибудь в укромном месте. Я караулил когда он, сняв колпак поваренка, выбежит на дневную прогулку и, стараясь не потерять его из виду, следовал за его песней.

« Две деревни, три села,
восемь девок — один я ».

В высокой, густой траве располагались мы на боку лицом друг к другу; он грыз семечки мелкими желтыми зубами, удивительно высоко выплевывая шелуху, курил сухие листья, завороченные в газету, и заманчиво вещал, перебирая все те же, не удовлетворявшие мое любопытство, похождения, не раз попадая в тупик от моих утонченных расспросов : « много будете знать, скоро состаритесь » — уклонялась тогда его фантазия и отворачивалась рябая хитростная рожа.

Главным образом одна область интересовала меня, одновременно являясь причиной смущения, я боялся связывать себя просьбами, ожидал, чтобы он начал сам, случайно, о недоговоренном в прошлый раз, поборов болтливостью, требующую приношений, неподкладистую авторскую гордость. Неприят-

ное любопытство; я чувствовал что он что-то разрушает, что презирает это разрушаемое, что оно скорее мое, чем его, но дальше разобраться не мог, из предосторожности скрывал наши нелюдимые беседы от взрослых, остерегался разоблачений сверстников. Какими непонятными формулами осыпал он меня, заблаговременно навострившего уши; не то частушки, не то загадки, не то просто непочтительная к слушателю чепуха. Гуляя один, я членораздельно вслух повторял усвоенное, но картинной повести не создавалось, кроме нескольких осколков — точно описанных частей женского тела — все пребывало туманным.

— Вы лучше у Пятака поспрошайте — превозносил он будто бы из скромности, на самом же деле от истощения собственного материала, своего приятеля — « ему намедни настоящие девки навязывали за амбар прийти, а то хочешь я устрою, тут одна хаживает, ох же и здорова, за фунт конфет и рубль согласится, тогда сам узнаешь... а то ты так, да сяк, да эдак... всего не расскажешь ! Знаешь, как Пятак действует ? Двугривенный покажет, а в кустах ей пятачек в руку сунет, « шкет » окаянный; ей Богу, по-деревенски складнее, а в Царском любиться трудно : раз-

ве что в дом публичный человек приличный!

Наконец-то; об этом-то я и хотел расспросить, но совсем не собирался попробовать, просто хотел знать, чтобы в свою очередь, если представится случай, не попасть впросак в разговоре; зачем же он со мной уничижительно обращается, намеренно, а не весело смеется, называет на ты, подмигивая на какую-то зависимость между нами?

— Ну а там как?

— Вестимо как, барышни живут своим хозяйством с прислугой, честь честью, а одна, что постарше, за мамашу сходит, потому и красный фонарь на воротах. Днем дрыхнут, а под вечер гостей с подарками дожидаются, как соберутся гости — начнется программа. Юбченки у всех коротенькие, так что всю срамоту, — само-то причинное место, — видать, хороводы водят, в горелки играют, хохот там как на свадьбах, а опосля выбирать можно, кому какая понравилась — офицеры в первую очередь, им и платить не полагается, по чинам дело делается, — да брось ты это дело, айда в городки играть!»

— А потом что?

— А потом, суп с котом, вторая серия, вот что потом, как когда картину в кинтошке смотришь, будто ты сам не знаешь?

— Ну, а тот, что первым ?, не зная как назвать этот поступок, переспрашивал я, не в силах ввести мою стройность в его неразбериху.

— Да что вам приспичило, выбрал, выбрал, разлуку затянули, ведь не на всю жизнь, выбираешь только, чтобы свой член в чужой и ходить туда вам нечего, ну их всех к дьяволу, мерзопакость одна, лучше поладьте с Наташкой, что у прачки работает, ее промеж нас колбасой ругают, уж очень она это дело любит ».

— Может нельзя, будто соглашался я.

— Льзя, братец, льзя, я зря языком не треплю.

Так протекали наши встречи, на которых он призывал меня действовать, а я искусно переводил разговор на менее известную ему область — Царское Село, — требуя с начала до конца происшествий, а не пожеланий, вплоть до конечной сцены посещения этого « дома » (я избегал по-моему неприличного прилагательного) — правила о членах !

« Зачем же говорить двусмысленности, кончающиеся недоумением, зачем выбирать, если потом все удивительно просто кончается, не безразлично ли ? », раздраженный на его бездарную болтовню, размышлял я : « вот

и с сыроежками он тоже обманывает, притворяется что жует и глотает, а на самом деле только кладет в рот и, лишь только я отвернусь, выплевывает и мне приходится, чтобы его не обидеть, — еще уйдет ничего не рассказав! — терпеть очевидное жульство. Но поговорить с кем-либо другим я не решался — вдруг, вообще все вранье и позорно, отвратительно-стыдно будет мне тогда.

Конечно, о чем-то скрываемом смеялись полольщицы грядок и, метущие ровными полукругами дорожки парка, девки-поденщицы, когда я проходил мимо них, недаром звали они меня по имени, лишь только я поверну спину, а когда я оборачивался, все опять молча работали, так что невозможно было отгадать какая позвала меня, не даром раздавался общий хохот, пересыпанный непонятными присказками, лишь только я снова продолжал прогулку, конечно, я не без причины начал стесняться моих голых ног, волос на них и коротких штанов, на которых теперь почему-то зашивали карманы, но между этими явлениями и таблицей Сеньки, никакой связи я не чувствовал, как между уроками и настоящей жизнью, между тем что отрицают и сами же потом при вас делают

взрослые. Я старался незаметно пробраться в команты горничных, леденцами, одеколоном и бензином пахло там; открытки и вырезанные картинки из журналов — целующиеся парочки, актеры и певцы или молодые военные — украшали роем какое-нибудь место обоев, и весь обращался в слух : стук швейной машины, равномерное движение иголки, потупленыые глаза. Они, не стесняясь меня, рассказывали друг другу бесконечные сны или любовные похождения, или и то и другое вместе, сон, любовь, быль, даже имена известных мне людей упоминались открыто, сын управляющего, почтовый чиновник, фельдшер, кто-нибудь из служащих.

— Он сказал мне (удивление)... я ему в ответ (находчивость)... а он опять свое (не уговоришь)... но я не из таких (торжественно)... и порой дерзкими злоумышленниками представлялись мне хорошо знакомые люди. Иногда они обнимали меня и целовали, хвалили мои волосы и срастающиеся на переносице брови — признак счастья — обращались со мной, как с особенным существом, тогда я старался нравиться и участвовать в разговорах, расспрашивал или предполагал — « женитесь, сами все узнаете, сейчас вы еще

хороший, а когда вырастете, таким же как все будете».

И все же беспрестанного попечения об этих тайнах не было. Еще притягивали заросли нашего парка, плоскодонная лодка садовника, старая плотина, сгнившая на болоте, высохший пруд, теперь луг чмокающий под ногами, с похожей на лезвия, режущей кожу травой и мшистыми кочками, в которых находишь гнезда и теплые яйца, войны разноплеменных муравьев вокруг мертвых дождевых червей, непозволенная охота, купания лошадей при восходе солнца. Даже страшные закаты и грозы меня не пугали, даже сумеречные тени — привидение и белая ночь, когда видны рябиновые гроздья и оживает по-ночному природа, тогда бродячие собаки рыскают волками, как леший аукают совы, а летучие мыши кажутся хищниками, но наблюдая я садился на землю уже реже, хуже замечал ее ткань, любил цель прогулкам, счет пройденным верстам, потраченное на это время и усыпляющую под вечер усталость как меру хвастовства. Теперь мы предпочитали бешенные игры, не обращая внимания на ссадины на руках и ногах и порчу одежды, расцарапанные летние дети интересовались только выигрышем партии,

поощрялась сила, ловкость, решительность, играли до потери дыхания, до изнеможения, до полного пресыщения. Борьба, казаки-разбойники, Шерлок-Холмс, гигантские шаги, футбол, состязание в беге, в прыжках, мы старались походить на атлетов и чемпионов — первенство мира, гром аплодисментов, победа — отражение действительной жизни, о которой все чаще слыхали вокруг.

« Нет, так не бывает в действительности », вот какое препятствие уничтожали мы в ежедневных спорах, обращаясь для разрешения вопросов к авторитету старших : — « это твоя фантазия, голый опыт другое » — как хорошо, что и для нас он наступит, лишь бы успеть вырасти, не умереть маленьким. В непреложную смерть я не верю; она продолжает пугать на минуту-другую, ибо она ничто и лишена изображения, но для себя она недопустима ; как могли исчезнуть все те люди, лошади и собаки, которых я так окончательно знал ! Мы будем бороться против измора, болезни, не закрывать глаз, не соглашаться лечь, продолжать дышать, несомненно требуется наше согласие, чтобы умереть и сопротивление смерти начинается с разговоров о летаргическом сне, длительных обмороках и даже проверки на свежей

могиле чахоточного наездника. Озобоченные спасением, под вечер пошли мы на кладбище, припадали ухом к земле и слушали; никто не решался первым сказать свое мнение об услышанном под землей, но под конец согласились все, что слышен хрип, слабое движение. Мы можем помочь; какое торжество ! Дети, глупые дети, спасли неправильно погребенного, сами, никем не наученные, догадались проверить смерть. Переполох : мы уверенно вместе говорили почти то же самое, но человек остался мертв, а нам запретили прислушиваться к могилам, в земле часто бывает шум... работает сырость... теперь ошибок не бывает, медицина на высоте, это раньше случалось... доктор определяет остановку сердца больного, — но он-то, больной — еще может быть сопротивляется ?... у нас не хватает знаний, чтобы спасать людей.

Церковь не учит спасать от смерти : она жизнь, а не смерть. Ты сегодня хорошо стоял во время обедни — хорошо ли ? — Сбивчиво молился, украдкой с клироса оборачивался на толпу, делал знаки двоюродным братьям, грыз ногти, становясь на колени старался попасть на ковер, а не на холодные плиты, считал причащающихся и, не слушая проповеди, ждал конца. Только

один непримиримо грустный земной поклон уходя домой перед часовней, где склеп отца, ангел и чаша, несколько минут сосредоточенности; коричневая богадельня рядом, подслеповатые старушки смотрят на нас, шепчутся, не то показывают пальцем, не то считают нас. Внизу пруд, дорога и конец парка « Баба-Яга »... —

« Больше сея любви никто же имать, да кто душу свою положит за други своя » ....за тех с кем живешь, а уклониться позор...



В воскресенье с утра потянутся по шоссе переполненные народом телеги, в поводу и верхом перегоняют неоседланных лошадей с гривами, завитыми цветными лентами — смешны северные низкорослые лошаденки ! — и располагаются кочевьем вблизи скакового круга. На новых трибунах пахнет струженным деревом и полощатся флаги, гомон толпы, солнце, стражники выстраивают в очередь записывающихся, мужики наудачу хвастают, стараются переборщить друг друга выдумками о своих лошадях; дородные, как кормилицы, нарядные девки прохаживаются под ручку, сверкая зубами и бусами, гла-

зами ласкают парней, шарахаются от ручного медвеженка. Приехал, на всякий случай, настоящий скаковой ветеринар, от него многое может зависеть. Офицеры в цветных фуражках знатоками держатся вместе, проминка коротким галопом, гул от подков, напряженные голенища без шпор в стременах, поводья в руках двигаются в такт аллюру, вот каким будет всегда впоследствии казаться Воров, с тенью козырька на лице, с хлыстом под мышкой, а не метафизикой на языке во всех случаях жизни.

Старший брат всегда на виду; он говорит отличительно от других неоспоримо правду, еще вчера он так хорошо ответил сестре — никаких цыганских романсов, только хоровое пение — и потом, про какого-то пьяного в поезде, пристававшего к даме, — у этого человека были дьявольские рытвины на лице, но все же он меня испугался, а то бы дуэль. Я опасаюсь того, к чему может привести его самоуверенность; ночью снилась дуэль, ангел в белой рубашке целился за него, а он, стоя рядом, улыбался крепкой улыбкой; вот и теперь он улыбается и, хромая, подходит здороваться, как хозяин : краткая речь судьи о правилах состязания, и началось.

Уже несколько раз, шипя бичом, пускали

старт, проносились испуганные глаза лошадей и пролетали комки дерна, свежие следы рубцами покрыли скаковую дорожку, издали видны болтающиеся локти парней, один свалился под хохот, но поднялся и бросился ловить убегающего коня, на той стороне круга скачут медленно, обгоняя друг друга, ясно видно как порют хлысты, доносится гиканье, однако все это мелочи, временные развлелечения, я ожидаю иное, до жути неизвестное, с только одним вечным концом — офицерскую скачку. Кто кого победит до следующей встречи, прославится, разбросает соперников, а потом заслуженно примет похвалу. Жаль, что я сам не участвую, как я мог бы уметь. Я даже немного жестокий на скачках, необходимо, но разумно спокойный, сдержанно сопротивляюсь упрекам — поразительно. Я готов на все, влюблен, не обману возложенных на меня надежд; она говорит со мной почти каждую ночь, а в действительности приезжает каждое лето, мы встречаемся ежедневно; какое у нее странное не русское имя, почти что баба, и притягивающие внимание особенности : адская боль в спине, американский велосипед с сиреной. « Он мне только раз пожал руку, и я поняла что такое любовь » — это она мне сказала при послед-

ней встрече зимой, удивив храбростью признания, и я не сумел ответить, никак не выходило шутки. Сегодня, когда пошлют спать, соединю ее и скачки; она не решается поручить мне свою лошадь, я согласен, но сам не прошу, другие взвешивают обстоятельства за и против, и вот, поборов все затруднения приготовлений и испытания, на нос у столба в полном посыле, выигрываю трудную скачку. Теперь она сама благоволит ко мне, почти неумолимому, и преддлагает примирение, уже бывают двойные, тройные противочувствия, алхимия чувств, сложными возможностями наполнено мое воображение, но конец несомненно добр, осуществляется точка в точку желаниям. Да, я люблю ее, тысячу раз отгоняешь мысли о неизбежности грешных прикосновений, мечты и явь одно и то же, одинаково правдоподобно думать и делать, один взволнованно расхаживая по комнате, где зажжены хрустальная люстра и канделябры, я разыгрываю бал по « Войне и Миру », насыщенный героической музыкой и гостями разборчивой красоты. Так как мы танцевали тогда, безусловно начинается серьезное ухаживание, объяснение в любви, свадьба и, наконец, настоящая жизнь, с позволением на все, защи-

щенная родством, традициями, а если потребуется, то и всем государством от козней судьбы. Я несомненно буду с ней, я ни на что ее не променяю, не жди, не жди, а то окаменеешь и счастье пройдет мимо тебя, — я не сомневался в успехе : неужели же в самый последний миг она отвернется, почувствовав, что мы близехонько у цели, побоится преломить последнюю тончайшую преграду ? Не может быть; на мраморной лестнице ливреи и белые парики лакеев, довольные лица и поздравления, фата и шлейф невесты удивительно нежны, я недавно видал все это на свадьбе сестры, события сущей важности назревают, растет уверенность в себе — что дарит мне такое усердие ? Еще дальше... Но новое придумать трудно, узнанной правды нехватает на продолжение, так опять сначала о том же и ничуть не скучно, наоборот, приближенно знаешь, что должно случиться, и отделываешь еще более тщательно наиболее лестные миги, не в силах окончательно установить, как правдоподобнее и лучше жить в магической смелости слов.

⁂

— « Наш дядя самых честных правил »
— « Он на охоту нас отправил ».

Прекрасная рифма. Наслаждение совершенством, наслаждение и жалость, что она не моя : в книге для расписывающихся гостей кто то из двоюродных еще при жизни отца смастерил это и я уже больше не в гостиной, а далеко в пространстве поэтической утопии, неясной, сложнейшей, но зато собственной, путешествую от образа к образу по наскоро перебрасываемым мостам.

— А ты, Иван, кем ты хочешь быть ?

Прежде я отвечал — философом, но с годами, заметив, что над этим смеются, молчал.

— Ну а как ты себе представляешь твое будущее ?

Как я себе его представляю ? Уж наверно не так просто, как вы, и совсем не заключенным в одном слове профессии, качество моих желаний иное; исполненная предложениями атмосфера заманчива, я рассматриваю штукатурку потолка : рассуждения « от противного » называю я такие расспросы.

— Окончательно ты это сейчас, один, конечно, решить не можешь, но кем бы ты все-таки предпочел быть ?

В дюймах и вершках — и к тому же укол самолюбия и предупреждение, что сам за себя я решить ничего не имею права.

— Юпитер, ты сердишься, значит ты не прав, правда удивительно, почему этот мальчик не любит отвечать на прямые вопросы? — в твои годы и уже такая скрытность, — почему, например, ты не хочешь быть доктором? Хороший заработок и интересная работа, наша эпоха несомненно эпоха науки и искусства.

Генерал от дизентерии. А пока что moujik-garçon, как прозвал меня воспитатель француз. Вот что совместно придумали и предлагают мне они, забывая, что всякий выбор закон; расти в большой семье — нас четыре брата и четыре сестры — означает не всегда получать желаемое внимание. И эта сухоть, почти пренебрежение к чужим переживаниям, когда они не совпадают с заранее начерченной авторитетом линией правильного поведения, передается и мне, я сам не лучше поступаю с подвластным мне младшим братом.

— Не понимаю, почему ты не хочешь быть доктором? Прекрасная профессия, отвинтишь кому-нибудь кость, а за это тебе, вместо кутузки, сто рублей полагается, странная у

детей неприязнь к эскулапам, — говорит старший брат и изображает на моей голой икре хирургическую операцию.

Вот как надо обращаться со мной, только он один правильно оценивает наши отношения; беда в том, что он часто отсутствует, не сдерживает обещания, что скоро вернется, изо дня в день откладывая приезд. Безошибочно же только к своим именимам (храмовой праздник) и к открытию охоты, издали гудком и столбами пыли дает о себе знать его маленький автомобиль — ложные тревоги, выбегания на дорогу... И этому событию предшествуют столько приготовлений, что длится оно меньше мгновения, что во встрече уже расставание. С утра в этот день приводят бабы его крестников из деревни, дворецкий и егерь настороже, мешают мне встретить его одному. Польщенный, что он поздоровался со мной первым, я в сотый раз замечаю коротенький перед его пáлевого автомобиля, как бы не хватает запряженных лошадей, и длинный хлыст на сиденье, чтобы отгонять деревенских собак. Опираясь на руль, он вылезает из дрожащего кузова, хромой ногой вперед; всегда подвыпивший камердинер Репа поцелует его в плечо студенческого кителя и опять будет длиться

монотонная пряжа суток в ленивой скуке и отделенности: «сообрази сам... не хлопай ушами... займись своим делом, попрощайся и иди...» Еще хорошо, если ко дню его приезда я не бываю наказан, не сижу в своей комнате во втором этаже, поглядывая на происходящее сквозь занавески, а присоединяюсь ко всем только за едой, хотя и тогда он щадит меня, не спрашивает при свидетелях, чем я провинился, смотрит в тарелку или протирает pince-nez, когда ему рассказывают о моем поведении.

— Самое скверное это вранье и трусость — говорит он беспристрастно, ни к кому не обращаясь (мне вдруг начинает казаться, что как раз в этом я виноват) — и, сопутствуемый одобрительными взглядами, завладевает разговором: общего у меня с ним только близорукость.

— Когда я бываю совершенно уверен, то держу пари, когда не совсем — даю честное слово — огорашивает он; я знаю, что это говорится нарочно в шутку, чтобы вызвать нетерпеливое выражение на лице нашей матери. Так он заступается за меня, но мне за него неловко, я мысленно обещаю, когда буду взрослым, не дразнить мать: — какие предвидения об охоте, — переводит она разговор.

Моя мать; она единственный внушающий беспрекословное подчинение человек, а нежность к ней, страх огорчить ее и коварная неясность позволенного еще больше затрудняют правильное поведение. Я легко, как знающий правила игры, замечаю, когда она, будто бы естественно отворачивает лицо, вместо того, чтобы открыто улыбнуться моим словам, я даже иногда слышал как она повторяла их другим, но каждый отдельный успех ничего не означает, постоянная дисциплина иное. Утром, пока она еще в кровати, мы приходим здороваться и я уже дважды ошибся, раз перекрестился целуя ее, в другой раз отдал честь — влияние уроков приехавшего в отпуск из корпуса второго по старшинству брата.

— Постарайся не ошибаться в следующий раз, не так трудно, попробуй, когда нибудь потом ты вспомнишь мои слова и будешь благодарен, что я занималась тобой, — и я верил что это удастся мне, ибо любил в моей матери все — лицо, голос, строгие очки, в которых она пишет, запах ее спальни и кольца на пальцах : рубины и бриллианты на одной руке, сапфиры и бирюза на другой.

Кем же ты будешь, Иван? Кавалерийским офицером, похожим на Печорина и, ко-

нечно, на старшего брата: индивидуалист теократического начала, называет он себя, и рассказывает про клуб, бега и tir aux pigeons. Я буду наездником и охотником; лучи рассвета, кувыркающиеся под выстрелами безумные зайцы, трепетный взлет тетеревов, а еще дальше, в самой глуши, красноглазые глухари и рыси, которых я никогда не видал на облаве. Бородатый егерь Клим приезжает на линейке, (он тоже хромает, но припадает глубже чем брат), русский мужик, окраской волос и одежды и силой сложения похожий на ту землю, к которой принадлежит. Историю Клима я слыхал много раз: раненый братом лось из последних сил поднялся с земли и ударом страшных своих лопастистых рогов, сломал ему бедро. Я видел лосину на стропилах сарая, кровь капала, лошади испуганно храпели.

— Далеко ходить побаливает, нараспев говорил он.

— Много ли браконьеров в этом году?

— Где им стрелять, лес рубят, а дичи сколько хотите.

— Новый понтер как работает?

— Глупый еще.

— Я его не для того купил, чтобы советы у него спрашивать, шутит брат.

— Мы с вами, Пал Палыч, все понимаем, — подмигивает Клим, но когда на следующее утро, с надеждой участвовать в их жизни, я пойду здороваться с сонным братом, он только потянется под одеялом, заложит руки за голову и, зевнув, рассеянно скажет:

— Пора одеваться, всунь мне папиросу в пасть.

***

В этом году наши скачки отложили, а потом отменили совсем: говорили о мобилизации и войне. Наплыв ежедневных слухов, прежде еле слышанных слов, такой быстрый и новый поток, что внимание опаздывало, что сравнения не помогали запомнить, никогда не виданный мною переполок. Наша деревня преобразилась: ежедневно крестные ходы, молебны, сходки толкующих мужиков — ура, славному оружию нашему — новобранцы, фуражки набекрень, распустили гармоники — « последний нонешний денечек » — мы сторонились к канавам, встречая подвыпивших парней, с узелками шагали малиновые лица из бани, сбродом смазных голенищ — « с легким паром, детки », — а по тракту пылили обозы и перегоняли лешадей ремонтеры.

Брат Николай в восемнадцать лет ушел добровольцем, а через три недели, когда он уже был убит, я написал ему единственное письмо, полное героической зависти: через семь лет и я смогу воевать, сначала легко запоминались имена занятых городов, число пленных, подробности геройских смертей (разрывная пуля в живот, один зарубил семерых). Снимки передовых позиций, георгиевские кавалеры, суровые генералы, одинаковые солдаты — пушечное мясо для братских могил, — лихие атаки заполнили страницы журналов; неминуемым казалось истребление врагов — победоносный мир. На стенной карте (Восточная Пруссия, Польша, Галиция) отмечал я флажками наступление: кропотливое, не починяющееся быстрым желаниям занятие. Но за этим первым лицом войны показалось иное. Взрывая крепости, неожиданно начала отступать действующая армия и вместо уже предвкушенной победы, вместо «мы пойдем и покажем!», «шапками закидаем!», стали говорить о том, что нас нельзя завоевать, что руссая зима верный союзник, когда нехватает патронов, вспоминали ветерана Кутузова, пожар Москвы, Березину, а успехи, — как можно жить без успехов? — давались чужим, союзным

или неприятельским, а не нашим солдатам, продолжавшим доблестно вступать в рукопашный бой и далеко и малозаметно, в окопах, умирать от чемоданов под ураганным огнем — война до победного конца.

Я заговаривал с нашим поваром, а потом не знал как выйти из неприятного положения. Он клял предателей, немцев на русской службе, переполненные штабы, плохое снабжение : « понимаете ли, что происходит? Окружают германскую позицию, губят тьму народа, забирают весь участок, а там вместо дивизии только несколько пулеметных гнезд с прикованными цепями к замкам наводчиками — одно объяснение « шпионаж » — и он старался подчеркнуть, что он осведомленный человек, принявший угрожающее решение на будущее, если так будет продолжаться. Как помочь ? Щипать корпию ? и вот, несогласный с очевидностью сводок, я на карте военных действий на участках, где отсутствие деревень допускало такую поправку, начинал наступление флажками.

Беспрестанно уезжали на войну знакомые, снова появлялись, изменившиеся, в невзрачной походной форме, ругали разруху тыла, на зеленых лошадях ушли царскосельские гусары, мать и сестры уехали в передовой

санитарный отряд, старший брат — сибирский стрелок — вернулся раненый и шутил, как всегда, когда я морщился на его перевязках, а на улицах, то и дело, протягивали за милостыней руку бородатые ополченцы и потом, благодаря, крестились, как нищие мирного времени. Краснокрестные флаги появлялись над подъездами частных домов. По праздникам мы навещали раненых; крепкий запах лекарств, бесшумные сестры милосердия, по коридору прохаживаются выздоравливающие в туфлях и халатах, хромая, или бережно неся раненную руку. Двери общих палат отворены — разговорчивый, хотя малопонятный народ. Они бойко преувеличивали прошлые несчастия, всюду побывали, но хвастались главным образом тем, что выжили, что лучше начальства сообразили как поступить, успешно поправляя даже врачей : « согласился бы я тогда, теперь бы без ноги ходил ! ». Тяжело раненные пугали : неподвижное тело, желтое озабоченное лицо, ожидающие глаза. Эти говорили с усилием, больше благодарили за папиросы и пряники, если сестры позволяли принять, просили написать письмо на родину, перечисляя поклонами всю семью — « ваш покорный сын или верный супруг » — я жалел,

что они не ведут себя как герои, что превозносят силы врагов и надеются на скорый мир.

**
*

Лесной обруч не заключает горизонта: глубокие, рыжие, вырытые ливнем овраги заметны лишь вблизи, на краю крест или небольшой навес с полинявшей иконой. Здесь, в черноземную мглу, сорвалась под откос телега — умер человек. Высоко кружат орлики, где-то еле слышно курлыкают журавли, на короткой траве лошади в путлищах, кивающий скот, мутные затоны омелевающих в жару рек, путеводные колокольни, мельницы медленно бегут, громадные белесоватые переполненные народом села, перелетают домашние гуси, пух по земле и воздуху, конский волос, вечная пыль. Я не знаю названий посевов яровой равнины, они тянутся изменяясь цветом и ростом, повторяются как знакомые с детства и утратившие первородный смысл чувства, — золотые, желтые, желто-зеленоватые, с красными и синими точками маков и васильков. Целый день отгоняешь мух, ночью часто слышишь набат, от засухи вспыхивают села, красным дымом расстилается зарево, сутками пахнет

потом горелым, вот он бескрайний чернозем, одетый в ситец и лапти, еще с татарскими уборами головы скуластых, загорелых крестьянок.

Нас увезли сюда подальше от войны и огромное, всегда ощутимое пространство отделяет от города, приезжающих, газет, телефона, всего того, что нужно мне теперь. Однообразен распорядок хлебородного имения; сельскохозяйственные машины и люди работают в полях, между хлебами и конюшнями запах молока и навоза, пленные турки в фесках и австрийцы в форме заменили мужиков; вечером они собираются на лавках перед рабочими домами, раздаются пение и скрипка. В созвездии хуторских строений, скрытый от проезжей дороги не огороженной рощей стоит наш деревянный дом, почти в комнатах раздается ржание и рев скота, но развлечений тут мало, я предпочитаю веселое полное событий петербургское лето. Занимают только конский завод и верховая езда. В уютной конюшне, денники кончаются решетками, видны только морды и навостренные уши лошадей, они зазывающе басом ржут, когда входишь провожают глазами, просят копытом, а потом опять продолжается однообразный хруст челюстей, сухой шорох

соломы и похлестывание хвостов. После заката с водопоя возвращается табун маток, последние лошади в облаках пыли, как корабли в тумане. Старые кобылы, нагибая шею к земле, осторожно переступают слабыми ногами, обходят выбойны дороги, молодые еще хорохорятся и огрызаются, заслоняя своих жеребят; эти смешно скачут на длинных ногах, хвост трубой, внезапно останавливаются чуя воздух, внезапно бросаются на попятную, ошибаются маткой, стараясь сосать на ходу.

На беговом кругу наездник в американке работает лошадей, поощряет голосом, красиво выбрасывают они забинтованные ноги; мы следим за его ухватками и превращаемся в кентавров, работаем ногами, как рысаки, подкованные следы должны оставлять наши сапоги и попеременно то уговариваем себя, то ржем; ложась спать, мы рассказываем друг другу, что нового мы узнали про лошадей. Я хотел бы иметь под верх нарядную вороную, отливающую серебром, чистокровную кобылу с трогательными завитками шерсти, и ее ученая, дышащая теплом, морда будет лезть в мой карман за сахаром — разве существует большее наслаждение, чем обнять лошадиную голову? Скользящий по

земле шаг, рысь для песни, чуть на дыбы приподнимается корпус переходя в галоп, а потом чередуется растяжение и собранность, и гордому всаднику открывается иначе сложенный мир.

Но не этим заняты все вокруг. Идет молотьба, разговоры лишь о саранче и урожае, и огромные возы качаются по полям к гумну, как жуки переваливаются через борозды и межи, вот-вот обрушится все сооружение. Мякина пылит ввысь и вширь, орава людей орудует вокруг молотилки, « туут-туут » указывает она свое место, многолюдное волнение; надо воспользоваться засухой, завтра могут нагрянуть проливные дожди. Что есть силы швыряют вилы, прямо в мешки попадает зерно из кранов, пленные нагружают телеги, связанная проволокой солома спадает пирогами с другой стороны, женщины, в подколотых выше колена юбках (это я сразу заметил !), разгибают здоровые спины, смахивают пот рукавом; на ухо, чтобы перекричать стук мотора, отдает распоряжения приказчик. Мы развозим волоком по сараям копны соломы, верхом на рабочих лошадях — некрасивые, пузатые лошаденки — ленивые нехотя переходят на рысь, но им нет пощады, покалеченными спинами трудятся

они. Однажды пал от солнечного удара безымянный мерин, так и остался лежать на боку до вечера и торчали, как оглобли, его несогнутые ноги, четыре не подкованных копыта; нет, это не для меня.

Иное дело поездки; я с утра жду ночи, когда знаю, что завтра мы отправимся за 60 верст на лошадях в другое имение. Уже несколько дней обсуждалось число троек и распределяли седоков по коляскам, по погоде, по состоянию песчаных участков, в засуху еле проезжаемых, по разведенным бурлаками пловучим мостам определяют точный маршрут, я все время боюсь, пока не начнут выносить чемоданов, что отменят поездку.

Чудное путешествие! Широкая дорога, тракт, по которой перегоняют стада, посередине ровные укатанные колеи блестят как руда, по бокам просушенная, покрытая трещинами, земля без следов копыт, совсем сбоку заросшие подорожником глубокие колеи, только в непролазную грязь выезжали туда разминаясь. На поворотах видишь почти весь караван, солнце то справа, то слева, не в затылок, из-за пыли, стараются ехать кучера. Плавно подвигается кузов, поскрипывает на рессорах, от каждого движения вырисовываются мускулы крупа и ляжек

упорных в упряжи лодадей, коренник под дугой идет плавным махом, ёкает селезенка, пристяжные полегче натягивают постромки, играют, заглядывают выпуклым глазом назад, хвост и грива наотмашку. Родная лошадиная музыка; бег колес, забивают подковы, бубенцы, храп, ржанье, голос кучера, рой оводов и зеленых панцырных мух преследует нас, присаживаясь на раскаленные от солнца крылья и фартук коляски, разопрелые лошади сочатся кровью, вздрагивают всей кожей под укусами. Далекий заунывный вид; каждый верстовой столб, каждая неровность земли вводит разнообразие, редкие курганы, овраги в орешнике, ленивые стога, постепенно уменьшаясь, отметили надолго позади проезженное место, везде серые кучи сухого помета, оскаленные черепа и кости падшего скота, следы костров, пастушьи шалаши, — табуны и стада перешли на заливные луга.

Пустая полная дум дорога! Редкие крестьянские телеги, дрожки урядника, почтовая тройка, стражник и артель рабочих арестантов, богомольцы — калики перехожие — с котомками и лаптями за плечами и нищий с бельмом, завидя помещичьи экипажи, остановились: не то молятся, не то

просят. « Фараоново племя, конокрады! » оборачивается кучер и указывает кнутом на кочевье цыганских кибиток : пестро разукрашенные женщины без головных платков кормят грудью голых детей, мужчины в широкополых шляпах, лица как крепкий чай, медведь на цепи с железным кольцом в ноздрях — несомненно что-то насмешливое крикнули они нам вдогонку.

Вдали блеснула вода, скрылась и снова блеснула, трава позеленей сменила выжженную и, все больше и больше зеленая, перешла в заливные луга, усеянные, — куда ни поглядишь, — лошадьми и рогатым скотом. Бронзовая река, незыблемая, как натянутый канат, разделяет зеленую поверхность, — не узнать куда течет. В камышах поют речные чайки, появились комары, песчаный берег у брода испещрен чашками копыт, мы спускаемся к плавучему мосту и сторожке, где уже поджидали нас : орава ребят, задрав зубами рубашенки, мочится в воду. Топот копыт по доскам, они намокают и слегка окунаются, летят брызги, кучер подстегивает испуганную пристяжную, на инобережном холме монастырь в роще, слышен благовест и даже виден звонарь, бородатые монахи, подбирая рясы, спешат с окунями и удоч-

ками во-свояси. Узкий проезд через посадки, мимо пчельника и кирпичных монастырских стен, по шипящему звуку колес узнаешь песчаную землю и снова обычный шум, разливается вширь дорога и едет на горизонт к еле видному дыму, а через несколько верст к уже различимым плетням, огородам, фруктовым садам, пугалам и кровлям раскинутого вокруг церкви села. Там мы производим переполох: мирно пасшаяся на улице скотина нехотя уступает дорогу, толкаются и визжат чумазые свиньи, куры улепетывают врассыпную, свирепствуют псы, отчаянные галки взлетают с колокольни, у колодца прекращается работа, бабы разгибаются над корытами белья, — выставка любопытных лиц — и показывают себя и смотрят, заслоняя глаза ладонью, босоногая детвора улюлюкая бежит за нами, с опаской поглядывая на кнуты гарцующих перед народом кучеров. С паперти чинно поклонилось духовное лицо, приказчики улыбаются на порогах лавок, одинокий, несуразный, серый ящик-больница — давит двумя этажами, а кругом строем стоит плоское крастьянское жилище, недозрелые тыквы, дыни, арбузы на кровлях и подсолнухи перед стеклами тусклых неодинаковых окон.

Внезапно завернув в проезд тополей, мы шибко подкатываем к деревянному одноэтажному дому под приподнятой по краям металлической крышей; малиновые, огненные, пыльно-зеленые заросли акации и шиповника, вишневые деревья и дикий виноград на его стенах скрывали его от взгляда. Нас обступает любопытная толпа баб и детей, — вблизи заметно какие они неопрятные, — нас рассматривают в упор, даже трогают потихоньку; воспитательница по-французски велит торопиться.

— У нас уже проезжали такие, промеж себя по непонятному, а нам по-российски указывали, мы их германцами звали, — бойко говорит одна из баб.

— Не бреши, тетка ! Народ темный, жизнь деревенская, — отвечает кучер и слезает с козел размять ноги.

— Подайте сироткам, — просит другая и старается подтолкнуть мальчишку в отцовском картузе с оттопыренными как крылья ушами и с мокрым, куцым кобелем на веревке и подводит за руку девочку со смешной косичкой во рту.

— Вот тоже горемыка, солдатка вдовая ! — указывает она на молодую, красивую бабу.

— Давно, мужа-то, давно убили ? — спрашивает подбоченившийся кучер, любуясь ею.

— Угнали, родимый, так без вести и пропал, — тянет она.

— Не тужи, соколица, такая как ты баба не сгинет, — утешает подмигивая он и ее лицо, изображавшее несчастие, оскаливается в улыбку.

Короткий отдых и чаепитие у земского начальника, пока впрягают подставу; надо доехать засветло, и снова мы на дороге : все те же бегущие столбы и провода, та же даль и музыка, только уже не подряд видишь, чувствуешь и слышишь окружающее, начинает клонить ко сну, серые, косые тени растут на земле и как будто проникают в отяжелевшую голову. Быстро прошло это путешествие, быстро прошла и вся эта жизнь, в последний раз что жили у себя летом. Холодеющий сентябрь, листопад и дожди наступили внезапно : нас все чаще зовут в дом и напоминают о скором возобновлении учебного года и возвращении в город, но я очень люблю перемены, ничего не жду от них кроме добра : судьба моя, заботливая мать, не уходи ! побудь со мною !

***

В центре купола электрический узел многоглазых прожекторов и пустые трапеции, на арене, аккуратно расчесанный граблями, рыжий песок, сидя шевелится толпа по ярусам, выкрики продавцов программ, все не так, как написано в книгах о цирке.

Внезапно сверху грянул оркестр и лишь тогда стали заметны трубы, фрачные хвосты и руки дирижера заметались словно чучело на огороде. Сыграли бравурно-задумчивый марш, перешли на медленный галоп, занавес у выхода артистов отдернули и тогда, будто из-под земли, предстал серый дородный клеппер, неся парадным шагом лиловый в золоте чепрак : две девочки-подростка прозрачные от облегающих трико телесного цвета, вели его под уздцы. На границе арены они одновременно отпрянули, поклонились; белый конь мотнул головой, уверился что на свободе и добродушным ровным галопом ровно пошел по окружности арены — цирковые служители с обручами в руках встали на стенку манежа. Так прошел целый круг, начинался следующий, когда раздался пронзительный крик. Крепко семеня ногами, простерши вверх букет алых роз черной по локоть перчаткой, не то танцовщица, не то

акробатка, — даже полурыба из-за чешуйчатых украшений короткого платья, ринулась наперерез коню и отчаянно оттолкнувшись, вскочила на широкую спину, откуда уже не напряженно рассыпала воздушные поцелуи : человек во фраке вышел на середину арены, поймал брошенный ею букет, тщеславно улыбнулся золотыми зубами и щелкнул бичом, подавая сигнал. Сквозь один, другой во-время подставляемый служителем обруч, сквозь те же опять прыгала мисс Арабелла, безошибочно попадая на чепрак, а потом, довольная собой, прилепилась к внутренному боку коня скрещенными вытянутыми ногами, поддерживая равновесие, черной перчаткой лаская то его шею, то его круп. Пока она совершала отважные прыжки, люди замирая следили, во всем цирке, были слышны только четкие звуки исполнения и скок коня, но теперь загремели аплодисменты, заглушили все иное, вызывая ее томные улыбки, поклоны и воздушные поцелуи кончиками пальцев, обеих рук. Внезапно она снова предстала во весь рост, ударом в ладони призвала к вниманию, приготовительно подняла руки : галоп стал короче. Прыгнув сквозь обруч, она сделала сальто над прижатыми ушами коня, трижды без

запинки совершила этот подвиг и, приняв от служителя букет, по цветку разбросала публике. Руки тянулись к ней, кричащие лица перегибались вперед, а когда потушили верхний свет и освещенная прожекторами она соскочила в песок и стала прощаться делая реверансы и по балетному расставляя ноги, не было предела восторгу, пока она бегом не скрылась из виду; из-за занавеся доносилось ржание и другие признаки многочисленного конского присутствия.

Восемнадцать лошадей в султанах, вороной и гнедой масти, выступили на арену и мордами окружили человека во фраке. — Оу, Оу, заговорил он и необъяснимым приемом заставил пропятиться всех к стенке арены и там одновременно встать на дыбы — большие пружинистые лошади и маленький несуразный человек посередине. Началась карусель, лошади крутились в противоположных направлениях, вежливо уступали друг другу дорогу, чуть подхватывали от удовольствия встречи, распространяя конский дух. Вдоволь насладив колдуна, они перестроились, включились в единственную цепь — за каждой вороной гнедая — и почти на месте затанцевали вальс. Тут случились ошибки, особенно в хвосте цепи шумливо пе-

рессорились лошади, но укротитель выправил непокорных и после целого круга, пройденного таким аллюром, остановил всех. — Оу, оу, — длинное внушительное — оу, — снова заговорил он. И они поняли его, встав только передними ногами на стенку манежа, все двинулись траверсом необычно переступая, лишь одна веселая кобыла, заключавшая шествие, гулко прошлась по стенке четырьмя подковами, но ее не тронули, так полагалось и казалось, что она радовалась своему исключительному праву. Наступила пауза. Лошади вольно смешались на арене, обнюхивались, скалили зубы, игры затевались то тут то там, будто от пробегающего тока они отдельно или кучками шарахались, заражая соседних, были и такие, что продолжали аккуратно парадировать или стояли смирно и просили копытом, не обращая внимания на сумбур вокруг. Порядок по мастям водворился на прощание, уже похвальное оу-оу направило последнюю перестройку, четвероногие тела опять заключили в круг человека, опять вставали на дыбы горячие звери — пена и огонь — и послушно за его руками опускались в песок.

Шайка клоунов уже несколько раз пыталась удержаться на арене. Их было пять

человек, пять настоящих пролетариев клоунского мира, обязанных повторять те же выходки по многу раз чтобы все оценили их. Они пробирались между зрителями или галдя высыпали через выход артистов, но успевали лишь коротко погоняться друг за другом или покорчить длинные носы и хвосты публике, обращаемые в бегство служителями. Это удавалось им, когда лошади напоследок приковали всеобщее внимание, они откуда ни возьмись очутились на стенке манежа и там безнаказанно распоряжались, подражая только что виденному, но не ржали, а мяукали и вставали на руки будто на дыбы.

— Урр-а-а, урр-а-а, нашли, нашли — душераздирающе кричали они металлическими голосами, в отчаянном озорстве спрыгивая по-разному на арену, указывая длинными пальцами на помет « убрать эту падаль, сейчас же убрать, лентяи » горланил самый шустрый « а то, а то я съем его », и он угрожающе топал ногами.

— Фу, как стыдно ! Как неприлично ! Как, как, как... искал непокорное выражение в клетчатом кармане смущающийся клоун-пьяница « как невкусно ».

Так протекал перерыв; служители бегом привезли на тачке скатанный коричне-

вый, похожий на пряник, ковер, развернули, расправили как следует, внутри него лежал белый сверток, из которого выглядывало человеческое лицо.

— Человек Божий, зашит в рогоже! Малютка прикатил! Шалун с нами! Вот хорошо! Вот смеху-то будет! орали на разный манер клоуны и кинулись освобождать из пеленок вновь прибывшего; карлик с разрумяненным по-детски лицом спал на спине, скрестив руки. Он ловко вскочил, разведя руками, поздоровался с публикой, стремительно много раз подряд перекувырнулся, потом также подряд заметал солнце, а под конец поднял свое тельце на воздух великолепным salto mortale.

— Он у нас не простой! Он с перцем! Всем задаст! Не только на антракты годится — восторженно ревели его собратья, таща к выходу за руки и ноги брыкающегося карлика, так как арену тем временем прибрали, установили посередине мостки и три важных клоуна, несомненно заслуженные имена афиши, артистически вступали на нее. Один хохлатый, до бесформенности пухлый, в полосатых трусиках, фуфайке и громадных сапожищах, размахивал сеткой для ловли бабочек; другой лысый, сухой, в белом крах-

мальном воротничке без рубашки и в котелке, как гонщик увешанный шинами, тащил за собой на веревке трехколесный велосипед и упирался на мандолину; третий маленький, под громадным рыжим париком, нес на носу огромные очки, а в руках книгу, куда не отрываясь глазел; заплетающиеся фалды сюртука не по росту мешали ему идти.

— Вот мы и у моря, на бережку — пропел басом велосипедист, « сейчас и отдохнем, подкрепимся, а потом раскинем палатку и заживем до Нового Года ».

— Ну ? А не холодно будет ? — усомнился книжный жук.

— Какой ты сухарь, безнадежный черствый сухарь ! сразу видать — профессор — затараторил любитель бабочек, женственно поводя плечами, « ты только посмотри какой отсюда вид ! Какая красота ! Какое могущество ! Эти барашки на ярусах ! » и он широким жестом обнял публику.

Клоуны немилосердно загоготали, расселись рядком, болтая ногами, на краю мостков, перецеловались и крикливо заспорили, где точно помещается это место куда они забрели.

— Туда мы шли или оттуда ? — поднял неразрешимый вопрос велосипедист — « дя-

дя », как называли его товарищи. Он соскочил в арену и стал приближаться к зрителям мелкими, медленными шагами гипнотизера, от которого нельзя оторваться.

Смущение охватило первый ряд. Только что смеявшиеся лица отворачивались, женщины робели, прятали лица, мужчины бодрились, старались отделаться шутками, на которые клоун не отвечал. На подмогу ему подошел профессор; наметанным глазом выискивал он жертву, несмотря на маленький рост сразу заглядывал ей прямо в глаза своей маской, а потом беспощадно преследовал : смущение росло, передавалось, и только неугомонные дети тоненькими голосами, веселым визгом, умоляли клоунов поиграть именно с ними.

Любитель бабочек тем временем не зевал : раздевшись почти догола (операция, проявившая какое количество разнообразнейшей одежды было напялено на него), он, кривляясь всем телом, гонялся за воображаемыми бабочками, которыми потом, чмокая, закусывал; после целого ряда трюков в сетку попал парик профессора.

— Остановите этого развратника ! Я простужусь ! Умру ! Верни мне мои кудри ! — вопил тот; бабочник пытался угомонить его

объятиями : « магнит, а не мужчина » — признался он в сторону.

— Городовой, арестовать их! в кутузку тащи шалопаев! — заорал голенастый дядя и задом наперед на маленькой передаче промчался по стенке арены, выкручивая зигзаги будто сейчас упадет, запыхавшиеся клоуны прекратили игру, зашагали к досткам и забрались на них, шопотом стали совещаться.

— Огромное большинство человечества гибнет от голода, холода и несбыточной мечты — провозгласил профессор и как памятник встал на мостках.

— Не каркай, чертова кукла, лучше прочитайка-ка что нибудь для души, — приказал дядя.

Профессор откашлялся, поправил галстук, отставил ногу, глубокомысленно скрестил на груди руки, — зрители насторожились, — но затем, не произнеся ни слова, коряво полез в песок, где лежала его разинутая книга корешком вверх. Он заглянул в нее, положил на место, двинулся было к мосткам, но после нескольких шагов схватился за голову, повернул обратно, снова судорожно проконсультировал книгу, — многократно, но все короче и короче разлучался он с источником своей премудрости — и в заключение закру-

тился на месте, то бросая, то подымая ее, пока, наконец, сам от головокружения не упал: «память у меня прескверная», признался он лежа навзничь.

Это было одно из тех замечаний, успех которых обеспечен, а появление можно предвидеть по темпу представления. Они обозначают заключение акта, рождение нового. Только что вразброд смеявшаяся публика воспользовалась этой передышкой, смех рушился дружно, можно было подумать, что существует сговор между обоими лагерями цирка, что подставные лица — тоже из актеров — направляют зрителей по усмотрению режиссера: но не есть ли это признак как раз хорошего зрелища?

С книгой в руках профессор опять одолевал мостки.

— Честь имею представиться «поэт Кормилица», с глубоким поклоном на все четыре стороны изрек он, «внимание!»

Однако внимание, поборовшее даже малейшее движение толпы, выявило совсем иное; из рядов служителей, с притворным одобрением следивших за работой трио, выступил уже прежде выступавший клоун-карлик в гимназической фуражке с чернильными пятнами на лице и голых ножках; он шел впри-

прыжку, мальчишеской походкой, руки в карманах и от праздного удовольствия посвистывал что-то себе под нос.

— Артисты всего мира соединяйтесь ! Все к нам !, — заорал Дядя, направляя по ярусам рупор; сбитый с толку поэт, кряхтя полез вниз, где и столкнулся носом к носу, самой смешной частью своего лица, с карликом — пораженные оба попятились.

— Я твой учитель, как ты смеешь не узнавать меня ? — погрозил он пальцем, но продолжал отступать, приседая, будто с грозным намерением наброситься на свою жертву с разбега.

— Вы не знакомы ? Как странно ! Профессор и поэт Кормилица, брат Дяди, — представил их друг другу бабочник, указывая по очереди на каждого своей сеткой.

— Брат дяди ! Он говорит брат дяди, безумец.

Знаешь ли, что ты говоришь ? Брат дяди — ведь это отец !, ревел возмущенный профессор; ему никак не удавалось обменяться рукопожатием с карликом : пока он предлагал свою пятерню, тот приподымал фуражку, а когда закладывал ее за спину, карлик протягивал ему свою ручку. Проделав это несколько раз, не в силах разрешить столь

сложную задачу, они, под конец, шумно расцеловались и долго сообща, чревовещательским хохотом радовали публику... Поэт снова лез на мостки. После продолжительного сморкания, откашливания и поклонов (он все время извинялся, что забыл поклониться вот еще этому милому мальчику или девочке), после угроз Дяди, что если он сейчас же не соберется читать, его сшибут с вышки, он, избрав из всех голосов, которыми обладал, траурный бас, с расстановкой изрек :

— И заплачут грозные солдаты...

— И заплачут грозные солдаты — раздалось вторично и уже гораздо более высоким голосом и тогда стало заметно, что меловые черты его лица не остаются маской, объяснительно играют.

— Да, угрожающе потрясла его лохматая голова, « заплачут грозные солдаты, да, да, заплачут, — злорадно подмигивали глаза, « грозные солдаты заплачут, заплачут, заплачут », речитативом несколько раз подряд прокричал он и его лицо попеременно изображало то горькое рыдание, то, глазами пожирающих начальство, солдат.

— Да-с, не извольте беспокоиться, грозные солдаты заплачут, они слишком долго щеголяли безнаказанностью, — перешел он на

убеждающий говорок ехидного собеседника, — в этом нет никакого сомнения, рано или поздно им придется покориться, сознаться в многочисленных преступлениях и умолять на коленях о пощаде, прокляв гордую осанку, холодную силу оружия, они вынут платки и начнут реветь, мы, клоуны, заставим их раскаяться и рыдать как маленьких детей, если уж на то пошло. Мы !... Мы !...

Но товарищи хором перебили его :

— Довольно, долой, не хотим его ! душно, воздуха, окна откройте ! где устроители этого публичного безобразия ?.

Поэт величаво завернулся в расстегнутый сюртук — ожидал. Сигнал атаки был дан колокольчиком. Вместе с прибежавшими на подмогу клоунами антрактов, дядя, бабочник и карлик закарабкались на эстраду, подсаживая друг друга, падали обратно в песок, снова яростно отдавая команды, бросались на приступ и, наконец, одолели редут.

— Попался зачинщик ! Добрались до тебя, любимец публики !, шкуру живьем сдерем ! — орали они в пылу сражения, как бы не распознав где находится враг, вцепились друг в друга и шаром тел закатались по мосткам. Расправа заключила битву; фалды, рукава и штанины поэта розлетелись, он предстал

в белье, лежа неподвижно на лопатках, окруженный кусками черной материи своего сюртука.

— Почтеннейшая публика, — выступил дядя, « мы обезвредили жало змеи, оно больше не сможет смущать вас, однако, чтобы сгладить неприятное впечатление, которое произвела на вас дикая битва, чтобы все разошлись по домам в хорошем расположении духа, мы готовы все вместе дать сейчас-же потрясающий концерт ».

Клоуны взапуски кинулись за инструментами, вчетвером поместились на эстраде — труба, гармоника, мандолина, барабан — и бубенцы на ручках и ножках карлика, — издали пробные звуки и заиграли. Это был банальный мотив побуждавший подпевать, рассчитанный на эффект бубенцов и вздохи тяжелой трубы, приятный, чуть грустный, с короткой темой и ловким припевом. Затем сыграли польку, потом авторитетный марш, чрезвычайно понравившийся, вспотевшие физиономии клоунов старались вовсю, чувствовалось приближение конца. Его возвестил усиленный барабанный бой, а лишь только последний рокот затих, карлик упал навзничь, три глубокомысленных рожи склонились над ним, прослушали сердце, ощупа-

ли пульс, послали за градусником и, как всегда в затруднительных минутах, зашептались.

— Печальное известие, господа, бедняга умер от расстройства желудка, не вынесло молодое сердце тягости артистической жизни, похороны по третьему разряду! — возвестил дядя, и все клоуны как по команде стали чрезвычайно естественно плакать навзрыд.

Служители привезли тачку, уложили на нее карлика и двинулись по окружности арены, сопровождаемые группой клоунов. Дядя пускал горизонтальные струи искусственных слез, профессор, похлопывая по меди, передавал свое горе рыками трубы, бабочник, по собственному признанию, шваброй заметал следы столь преждевременно угасшей молодой жизни, а мертвый карлик подмигивал публике: полных три круга совершили они под гром аплодисментов.



Революция: необыкновенное чередование гласных, а произнесенные скандовано — латынь, а не жизнь: Хорошо ли? — плохо ли — куда ни прислушаешься, получаешь иное объяснение. Новые лозунги; это были

мудрые изречения и пожелания. Люди научились ходить, соединенные плакатами — митинги, красные флаги, оркестры — повторять все тот же куплет. Окаянная решимость заражала, грозно шумела по улицам, переполненный город волновался целыми днями и даже ночью не расходилась толпа. Неугомонно рождались новые слова, еще более странные на звук, чем для памяти. Они образовывались из нескольких избранных слогов разных, зачастую иностранных, слов, иногда один из слогов заменялся другим того же слова или те же самые переставлялись в обратном порядке, все же не приобретая смысла, который осваиваешь даже в услышанных впервые вековых словах языка. Более осторожные люди (их называли теперь провокаторами), взывая к здравому рассудку, пытались отбросить все нововведения вкупе, подвести под понятие словоблудия, но эти усилия были неискренны, звучали по-домашнему ветхо и слабо, ибо напор чувствовался, увлекал. Пожалуй, еще больше видоизменились оценки; на одно событие их было по многу, иногда противоположно, но всегда категорично оттененных, а личное предпочтение, — от него я не отказался, — не имело времени установиться, пребывая

полусознанным или даже тайным. А как невозмутимо, строго и просто судили мы прежде; постановка вопроса, минутное размышление, дабы вспомнить шкалу ценностей, — ответ, предвзятое мнение, — и теперь также просто, после еле уловимой запинки, отсылали в архив памяти неразрешенные задачи и продолжали жить и ждать конца новизны и начала справедливой и, конечно, нашей эры. Возможно, что так было лучше : события сотканные из столь новой пряди ежедневно опровергали предвидение, оставляли нас в стороне, так как мы пока еще ничего не решили, и самые близкие люди не теряя достоинства, могли авторитетно отказываться от того, что утверждали еще вчера. Я не помню когда начался мой страх, как свое постоянное стало казаться ненадежным, но я помню, как солдаты напротив нашего дома выбрасывали в снег унтер-офицеров из окон казармы, как казачие патрули исчезли с верховых дорожек парков и заменились студентами-милиционерами, как сбивали с решеток дворцов вензеля и золотые орлы сквернословящие, серые шинели и громадные афиши подряд во всю стену домов — их звали прокламации — обращались через наши головы к остальным. « Вой-

на до победного конца» — утверждали раньше, «долой войну» — надрывались теперь, и она продолжала доживать где-то далеко, как назойливая и не разрешенная задача, сути которой, когда-то прельщенный, ты намеревался посвятить много труда, но теперь, занятый каждодневными заботами, стал забывать.

Меня не отдали в корпус, — переезд в Москву был решен, — непохожая на прежнюю, чужая жизнь проникла в наш дом. В гимназии говорили о политических партиях, выборах, контр-революции, о том, что старое сгнило, а новое еще не взошло, уроки прерывались уличными беспорядками и забастовками и из нашей квартиры на пятом этаже в Москве я следил за восстанием юнкеров, стрельбой броневика по церковной колокольне, слушал разрывы снарядов загородных батарей и пулеметное эхо города. Так наступили холода почти без угля и электричества, люди падали на тротуарах от изнеможения, стояли хвосты перед лавками, постоянно встречались арестованные под конвоем, ночью я просыпался от пальбы по налетчикам, шума грузовых моторов и обысков, голода и таинственных посещений знакомых, которых мы называли не настоящими име-

нами. Нас становилось негодно-мало; впрочем и раньше я бывал разборчив в выборе слушателей, но говорить шопотом, скрывать свою обособленность и желать поражения еще недавно своих солдат, я научился только теперь и продолжал учиться, на улицах по глазам узнавал единомышленников. Нам стало не на что надеяться, дни за днями нагоняли уныние, теребили воспоминаниями память, беспокойно делается от непривычных забот и потерянной уверенности в себе; близкие понятные люди, те, которые, казалось, умели сказать решительное слово, дать отпор ненавистной новизне, не смели отвечать на оскорбления — и так-как нельзя вечно сдерживаться, вечно скрывать чувства — то желание скрыться самим росло и, наконец победив все устои, двинуло в путь. Не сговариваясь, вся семья наша и, похожие на нее, другие семьи с удивительной легкостью, даже с отрадным чувством, начали покидать насиженные места и, не зная точно куда, с уверенностью перелетных птиц, потянули на юг. А как только двинулись мы, за нами двинулась паника и больше не покидала нас. Новые места не могли остановить этой погони, она следовала за нами по проторенному нашим бегством пути, но не

настигла, еще щадила, только всегда располагалась поблизости временного очага, как будто отдыхая до следующего этапа. До неузнаваемости переменились железнодорожные путешествия и вид из вагонов. Санитарный украинский поезд, чубастые гайдамаки, карательные отряды в деревнях и иллюминованный, беззаботный Киев — другой акцент речи, дисциплинированнные, несмотря на революцию, немцы..., а мы мчались все дальше, грязная Одесса, добровольческая армия, офицеры и женщины целующиеся на улицах, пьянство, игра, кокаин, расстрелы, союзный флот и войска, минное поле, на котором мы ночевали, на пароходе идя в Крым, все это я разглядел в несколько месяцев через стекла вагонов, с пароходной палубы или слышал от других. Так добежали до моря, и те, что прибыли первыми, испугавшись непроходимого препятствия и количества пройденных почти незаметно верст, отыскав единомышленников, побороли огульный страх и, с оружием в руках, хлынули обратно на север.

Я опять увидал металловидное расплавленное море, оно царило как бесконечность, манили в даль пушистые дымовые султаны пароходов, на косом берегу люди много и

тесно построили, будто дорожа последней пядью земли, из воды высовывались хитросплетенные постройки, прикованные ко дну, простирающиеся на поверхности, причаленные к набережной, торчащие к небу, и почти как у себя дома — море ничье — по порту гуляли иностранные матросы с уничижительной улыбкой всезнания, осматривающие наши, может быть, плохие сооружения. Рано утром мы погрузились на крейсер, серые громобои союзников направляя щупальцы пушек на Севастополь, сторожили бухту.

**
*

В детстве я был уверен что заграница — город, где-то во Франции на юге, у моря около Ниццы. Помню цветную глянцевитую открытку — дамы, в широкополых шляпах, не горбясь сидят на белых стульях под гуттаперчевыми пальмами или медлительно гуляют, защищаясь зонтиками от ненарисованного, но несомненно сильного солнца, — и казалось, что там скучновато, как в праздник в переполненном городском саду. Скоро потом, когда уроки и чтение стали открывать мне непосещенные страны, неподдельно-ново,

заманчиво звучали лишь одни имена этих мест, в их созвучии, пока они были совсем чужими, чуствовались собственные климат, цвет, говор, движение, но создать целиком новую, прочную землю, я был не способен, невольно сравнивал прочитанное со своим окружением, нечаянно переносил части его туда, так что при повторной встрече в разных углах мира появлялось и тушило любопытство уже знакомое; — разве может быть лучше там, где я еще не бывал? И потому ли, что Константинополь, почти русский Царьград, много раз попадался мне на страницах и картах учебника истории и что много раз я автоматически переносил туда мою атмосферу, или потому, что он был как раз переполнен русскими беженцами, но он показался своим, обычным, черноморским городом; южная толпа, совсем как в Одессе, разделена на две категории, из которых одна особенно бойко работает и галдит, а другая, преувеличенно равнодушная, ждет перемен в кафе. Бронзовые или оливковые лица; красные фески, конечно, красивы, но и их я раньше видал, чистильщики сапог говорят на всех языках, это занятно. Матросы с именами военных кораблей всего мира на лентах фуражек; вылощенные англичане,

шотландцы в юбках, альпийские стрелки с петушиными перьями на беретах, румыны, сербы шныряют по улицам, целыми днями разъезжают парные извозчики и французские мундиры с женщинами на коленях распевают во всю глотку не боясь начальства, nous avons gagné la guerre — это не ново, часть русского сумбура, похоже на то, что я видал на том берегу.

А теперь, после месяца Турции, я попал в спокойную страну и увидал другое, оно без удержу манит меня своей новизной, право не знаю как быть.

Шумны, похожи между собой азартные эллины, — может быть и впрямь одни и те же или все братья и сестры? — проходят мимо, вращая ослепительными белками, перебирая пальцами четки, и я первый опускал глаза с покорностью, когда на меня смотрели женщины, а они смотрели часто, ибо я был белокур, иностранец и, хотя подросток, выше многих туземцев. Северяне на юге неуклюжи и потому не самоуверенны; они не умеют удобно, бело и мягко одеться, защититься против жары, одинокие в толпе, вызывающе презрительно выделяются их тусклы лица, неодобрительно мудрые, видавшие другое счастье. Что мы будем делать

теперь, взрослые мальчики? сначала учиться, потом научившись — работать, что мы найдем тут? то, что потеряно, существовало еще так недавно, что трудно от него окончательно отказаться, даже стесняешься, что его больше нет, может быть оттого, что мы в гостях, что Греция маленькая страна (не даром любит называться ЭЛЛАДОЙ — тысячелетие славы), а мы, башковатые русские, ослепленные прошлым путешественники, не верящие в продолжительность первой разлуки.

Помилуйте, у нас союзный флот, казаки, боевое офицерство, даже сознательные рабочие, а у красных голодные, силой загнанные на позиции, толпы неграмотных рабочих без идеологии, без снабжения, без специалистов, из достоверных источников известно, что коммиссары уже переплавляют валюту за границу, конец гражданской войны не за горами, мы вернемся — и не даром уже сейчас организуем комитеты спасения, союзы возрождения, общества взаимопомощи для таких же, как мы, людей. Но бегство-позор, это я чувствовал и, если бы не старший брат, продолжавший воевать на севере, мне было бы нестерпимо стыдно. Он защищает меня от высокомерных улыбок, он, волоча больную

ногу, идет освобождать заложников, спасать голодных самоубийц, как я могу не верить в успех его предприятия? И какая-то лучшая часть меня самого осталась подле него. Кому это можно поведать? Никому. Я не знаю любят ли нас местные жители, про других иностранцев существуют насмешливые поговорки — только собаки и англичане гуляют по улицам в полдень — меня же несколько раз спрашивали, православный ли я, и одобрительно щипали за щеку на утвердительный ответ; смущаешься от похвалы в лицо, разве так узнаешь действительное превосходство? Наверно остановка вне времени могла бы сразу приручить меня: вот разработанный план твоей будущей жизни, изучи, некуда торопиться, привыкни, ведь по старому продолжать нельзя, но дни шли за днями, лишь постепенно, незаметно укрепляется перерождение, досуги тянули по вновь установленным необходимостью рельсам. По-моему я не менялся, как медленны приготовления к новому, когда хочется сразу же быть виртуозом! Самые крупные события моей жизни были всегда не те, в которых я участвовал, а те от которых я многого ожидал. Уживаться я не умел; только сотни наилюбимейших прошлых дней умел я по

желанию вызывать на пробные мечты, но совершить собственный поступок, выдумать головой, смастерить руками, я не был способен и страдал от этого, чувствуя, что от меня ожидают самостоятельности. Ежедневно я ходил в католический лицей, с трудом отрываясь от постели. — Уроки, футбол, уроки, — хорошо преподают братья Маристы, с каждым учеником стараются отдельно — и, от нечего делать, неожиданно для себя самого полюбил заниматься, неделями не выходя гулять, стойко работал плечами памяти с той особенной легкостью, с которой я до сих пор в одиночестве без конца утверждаю, уверенный в моей правоте и в громадных возможностях моих.

— У вас было нарушено равновесие между воображением и восприятием действительности, вы как-бы не чувствовали сопротивления материи, — определил мое состояние классный наставник.

Ненужное осложнение, хорошо что избавился, скоро наступит настоящая жизнь : столько раз надеешься, столько раз ошибаешься, что самообман вошел в протокол размышлений, как пафос стиха без ясных слов. Но нет, еще один насильственный разрыв с прошлым, неожиданный, окончательный. От

раны в живот, ничего не успев мне написать, умер старший брат, один без семьи, брошенный своей женой — говорили, что он как бы искал смерти; « граф-деревянная нога », звали его солдаты. Мы жили опять дружнее, и я, уже частично перевоспитанный новью, плачу как в детстве, не владея собой, не могу смотреть на руки старшей сестры, те же руки что у него, когда она меня утешает, красиво улыбаясь. В Гатчине замерзает его могила, холод одиночества и слабоволья опять охватывает меня, опять на уме Россия, романтическая война, теперь уже без него... Я не могу просить : — « благослови меня! » лишь буду вспоминать все то, что не успели сделать, мы не поедем вместе на войну, без лишних слов с надеждою победной, я всех своих люблю, но предан был ему.

***

Я начал записывать нагромождение мыслей — медленно шептал карандаш слова бумаге и казалось, что тихий почерк убедительнее криков и взрывов негодования может привлечь на себя внимание соотечественников, — единомышленников и врагов, — и, даже других современников.

В шестнадцать лет я начал жить один: за каждым испытанием — новое. Так однажды, вытолкнутый из кровати, я вышел из дома, когда город еще досыпал, и пошел бродить без цели и памяти, пока розово-палевый Акрополь, уловив мою нерешительность или полную решимость на все, не привлек меня через крыши строений. Он прекрасно отсвечивал рассвет — амфитеатр заключил под сквозные портики лиловые горы, озаренное небо, упрямые камни его навострили свой профиль, уперлись о дали, ввысь поднесли Кариатиды все то, что еще не упало брызгами мрамора, млечным путем развалин, и внезапно и ясно я понял, что не время разбило это творение, а сам Архитектор разбросал на тысячи лет точеные как тела, намагниченные его духом камни, а в пример законченных совершенств, создал наш остров, нашу грудную землю, чужие планеты и меня, идущего в гору, — вечный триумвират.

Я взошел на каменистый холм. Удивительное утро! У ног моих в жилой бездне солнца, покоя, дыма и трепета, в привлекательном беспорядке простирались порогами вокруг акведука, как кубические рисунки, хижины старого города с узкими полосами переулков. Там ютится беднота ,семейства с ополче-

нием детей, стаи кошек, артели домашней птицы, там что-то рядят люди, видны обрезки смуглой кожи и сушится плоское белье без женских тел; там, где убийственно трудно ходить, я побывал, а сюда не поднялся; я, как крот ослепленный земляными коридорами, не мог видеть света — вон отсюда! Впервые обрадованный своим одиночеством, я почти побежал к Парфенону; неужели новая мудрость осенила меня? Несколько непостроенных ступеней — и я наверху. Нестерпимо захотелось лечь, растянуться, читать; уже печет низкое солнце, но мрамор пока не накален, щекотящими струями течет из под волос пот и собирается в ямках моего тела, рубашка липнет к коже, жарко глазам, как эхо вдали присутствует густое море, как огни горят острова. Удастся ли заниматься? Ничто так легко не прельщает внутреннюю бдительность как наружный мир. Раскрываю заложенную карандашом страницу, начинаю чертить на мраморных плитах геометрические фигуры, сухими губами доказываю вслух теоремы. Но не долго длится успокоение, чуть призадумался, еле поднял глаза и уже не могу сосредоточиться, захваченный про запас роман сам собой попадает в руки. Я читаю, останавливаясь, представляя себе

познанное про неиспробованные чужие поступки, про любовные привычки автора и ему подвластных людей. Для меня это область догадок, не пора ли начать самому? Как это следует сделать? До сих пор ни от кого только не мог добиться ответа, по каким признакам определяют появление настоящей взаимной любви?... Ты — педант, смеются надо мной, а я, озадаченный, уже не раз ходил вечером смотреть как целуются на скамейках : лицом к лицу, не видя друг друга, перекрещенные ноги в полутьме, южный ночной смех, а потом остаются следы таинственного сосуществования, если пойти туда на следующее утро. Я лежу на спине, заложив руки за затылок, как из центра гигантского полушария, плотным сводом глядит небо, все пространство насыщено солнцем и моим удивлением — что впереди? Можно ли узнать судьбу ? Я хочу жить как все, а не во сне воспоминаний, разочарованным в менском участии романтиком я совсем не хочу жить, и уверенность, что большое, странное счастье ожидает меня, уже есть, — надо пойти к гадалке... У нее были седые усы, черная косынка и звери помощники; скорпион в стеклянной клетке, большеголовый филин-философ — «Герб Афин» и ученый, крас-

ный, генеральский петух; один слепо мигал глазами, другой выклевывал зерна — у каждого свое значение. Она раскладывала карты, допрашивала кофейную гущу, хрустальный шар и предупредила : « тебе придет несчастье от воды ». Много раз потом я старался догадаться, что она увидела во мне и рассматривал себя в зеркале. Трудно решить; у меня нет лица, ужасная мягкость, распухший, курносый нос как у истерических комиков, губы так тонки и бесцветны, что кажутся высохшим шрамом, под глазами, — какие они ? сам никогда не увижу, — глубокие синяки, безволье, — уверяю вас, — неспособность и терпение — тождество, и ни одной, — знаете ли вы, что это бывает ? — ни одной располагающей черты, только от того, что долго всматривался, три поперечные складки между бровей. Я научился изменять мускульными усилиями мое лицо, скрывать сухой рот, сделал его маленьким, а вот сухим-то он остался, втягивать раздутые ноздри, аккуратностью в одежде добивался, по-моему, приятного облика. Боже, какое достижение ! Какая-то гармония может существовать во мне в деревянной форме, пока молчу, хорошо бы расширить и осветить глаза, но насилие над собой не производит энергии и красоты,

зато порождает неестественность, вот мое главное несчастье, а не то, что придет от воды, возмущаюсь я своим творчеством. Все равно надо жить и познать ! Довольно пропущено времени, — обязательно жить, — не обращая внимания на препятствия. Трагическое существование не всегда результат ударов судьбы, оно постоянно увеличивающееся, по твоей слепоте, недоразумение, использованное другими. Я хочу жить как ростовщик, лишь на срок отдавая накопленную мною любовь, лишь для того чтобы сторицей получить ее ответно, чтобы обогащался мой, до сих пор только скудный, покорный опыт. Но как избавиться от обязательного окружения : постепенно порвать с прошлым или одним ударом разрушить весь строй ?

Imprimerie P.I.U.F., 3, rue du Sabot - Paris